

Российский государственный гуманитарный университет
Russian State University for the Humanities



RSUH/RGGU BULLETIN
№ 5 (26)

Academic Journal

Series
History. Philology. Cultural Studies.
Oriental Studies

Moscow
2017

ВЕСТНИК РГГУ
№ 5 (26)

Научный журнал

Серия
«История. Филология. Культурология.
Востоковедение»

Москва
2017

УДК 94(05)+80(05)+008.001(05)
ББК 63.3я5+80я5+71я5

Редакционный совет серий «Вестника РГГУ»

Е.И. Пивовар, чл.-кор. РАН, д-р ист. н., проф. (председатель)

Н.И. Архипова, д-р экон. н., проф. (РГГУ), А.Б. Безбородов, д-р ист. н., проф. (РГГУ), Е. Ван Поведская (Ун-т Сантьяго-де-Компостела, Испания), Х. Варгас (Ун-т Валле, Колумбия), А.Д. Воскресенский, д-р полит. н., проф. (МГИМО (У) МИД России), Е. Вятр (Варшавский ун-т, Польша), Дж. ДеБарделебен (Карлтонский ун-т, Канада), В.А. Дыбо, акад. РАН, д-р филол. н. (РГГУ), В.И. Заботкина, д-р филол. н., проф. (РГГУ), В.В. Иванов, акад. РАН, д-р филол. н., проф. (РГГУ; Калифорнийский ун-т Лос-Анджелеса, США), Э. Камия (Ун-т Тачибана г. Киото, Япония), Ш. Карнер (Ин-т по изучению последствий войн им. Л. Больцмана, Австрия), С.М. Каштанов, чл.-кор. РАН, д-р ист. н., проф. (ИВИ РАН), В. Кейдан (Урбинский ун-т им. Карло Бо, Италия), Ш. Кечкемети (Национальная школа хартий, Франция), И. Клюканов (Восточный Вашингтонский ун-т, США), В.П. Козлов, чл.-кор. РАН, д-р ист. н., проф. (РГГУ), М. Коул (Калифорнийский ун-т Сан-Диего, США), Е.Е. Кравцова, д-р психол. н., проф. (РГГУ), М. Крэммер (Гарвардский ун-т, США), А.П. Логунов, д-р ист. н., проф. (РГГУ), Д. Ломар (Ун-т Кёльна, Германия), Б. Луайер (Французский ин-т геополитики, Ун-т Париж-VIII, Франция), В.И. Молчанов, д-р филос. н., проф. (РГГУ), В.Н. Незамайкин, д-р экон. н., проф. (Финансовый ун-т при Правительстве РФ), П. Новак (Белостокский гос. ун-т, Польша), Ю.С. Пивоваров, акад. РАН, д-р полит. н., проф. (ИНИОН РАН), С. Рацич (Ун-т Вупперталя, Германия), М. Сасаки (Ун-т Чуо, Япония), И.С. Смирнов, канд. филол. н. (РГГУ), В.А. Тишков, акад. РАН, д-р ист. н., проф. (ИЭА РАН), Ж.Т. Тощенко, чл.-кор. РАН, д-р филос. н., проф. (РГГУ), Д. Фоглессонг (Ратгерский ун-т, США), И. Фолтыс (Опольский политехнический ун-т, Польша), Т.И. Хорхордина, д-р ист. н., проф. (РГГУ), А.О. Чубарьян, акад. РАН, д-р ист. н., проф. (ИВИ РАН), Т.А. Шаكليена, д-р полит. н., канд. ист. н., проф. (МГИМО (У) МИД России), П.П. Шкаренков, д-р ист. н., проф. (РГГУ)

Серия «История. Филология. Культурология. Востоковедение»

Редакционная коллегия серии

Е.И. Пивовар, гл. ред., чл.-кор. РАН, д-р ист. н., проф. (РГГУ), А.Б. Безбородов, зам. гл. ред., д-р ист. н., проф. (РГГУ), С.И. Гиндин, зам. гл. ред., канд. филол. н., доц. (РГГУ), Г.И. Зверева, зам. гл. ред., д-р ист. н., проф. (РГГУ), И.С. Смирнов, зам. гл. ред., канд. филол. н. (РГГУ), П.П. Шкаренков, зам. гл. ред., д-р ист. н., проф. (РГГУ), М.Л. Андреев, д-р филол. н., чл.-кор. (ИМЛИ РАН), Т.Г. Архипова, д-р ист. н., проф. (РГГУ), Н.И. Басовская, д-р ист. н., проф. (РГГУ), А.Г. Васильев, канд. ист. н., доц. (РГГУ), В.И. Дурновцев, д-р ист. н., проф. (РГГУ), Е.Е. Жигарина, канд. филол. н. (РГГУ), С.В. Карпенко, канд. ист. н., доц. (РГГУ), И.В. Кондаков, д-р филос. н., канд. филол. н., проф. (РГГУ), М.А. Кронгауз, д-р филол. н., проф. (РГГУ; РАНХиГС); Г.Н. Ланской, д-р ист. н. (РГГУ), Д.М. Магомедова, д-р филол. н., проф. (РГГУ; ИМЛИ РАН), Ю.В. Манн, д-р филол. н., проф. (РГГУ; ИМЛИ РАН), И.Г. Матюшина, д-р филол. н. (РГГУ), А.Н. Мещеряков, д-р ист. н., проф. (РГГУ), С.Ю. Неклюдов, д-р филол. н., проф. (РГГУ), М.П. Одесский, д-р филол. н., проф. (РГГУ), Е.В. Пчелов, канд. ист. н., доц. (РГГУ), Н.И. Рейнгольд, д-р филол. н., проф. (РГГУ), Р.И. Розина, д-р филол. н. (РГГУ; ИРЯ РАН), Н.Р. Сумбатова, д-р филол. н. (РГГУ), Я.Г. Тестелец, д-р филол. н., проф. (РГГУ), В.И. Тюпа, д-р филол. н., проф. (РГГУ), П.Ю. Уваров, чл.-кор. РАН, д-р ист. н., проф. (РГГУ; ИВИ РАН), В.И. Уколова, д-р ист. н., проф. (РГГУ; МГИМО (У) МИД России), А.С. Усачев, д-р ист. н., доц. (РГГУ), И.О. Шайтанов, д-р филол. н., проф. (РГГУ), А.Л. Юрганов, д-р ист. н., проф. (РГГУ), С.А. Яценко, д-р ист. н., проф. (РГГУ)

Ответственные за выпуск: А.Л. Юрганов, д-р ист. н., проф. (РГГУ)

СОДЕРЖАНИЕ

Жизненный мир в истории России

От редактора (<i>А.Л. Юрганов</i>)	7
<i>А.В. Каравашкин</i> Конвенциональные модели и «жизненный мир» в источниках культуры	9
<i>Д.И. Антонов</i> Колдун на престоле: легенды и слухи о Лжедмитрии I как царе-самозванце	31
<i>И.В. Курукин</i> «Воня безбожия»: История одной любви, или Провинциальный секретарь Максим Пархомов против Святейшего Синода	47
<i>И.Г. Шевелёв</i> Эго-документы как источники по изучению психологии участников Первой мировой войны (на примере архива семьи Смоляков)	61
<i>А.Б. Асташов</i> Повседневность запасных батальонов гвардии накануне Февральской революции	71
<i>В.С. Парсамов</i> Ю.Г. Оксман и революция 1917 г.	92
<i>А.Л. Юрганов</i> Имажинизм и ЛЕФ: жизненный мир советской литературы в конфликтном противостоянии	109
<i>М.П. Одесский, Д.М. Фельдман</i> «Жизненный мир» в диалогии об Остапе Бендере: от «Двенадцати стульев» – к «Золотому теленку»	146
Abstracts	155
Сведения об авторах	158

CONTENTS

Lifeworld in Russian History

Editor's note (<i>A. Iurganov</i>)	7
<i>A. Karavashkin</i>	
Conventional models and "Lifeworld" in culture sources	9
<i>D. Antonov</i>	
The sorcerer on the throne. Legends and rumour about False Dmitrij the First as an impostor	31
<i>I. Kurukin</i>	
"The smell of atheism". Maxim Parkhomov against the Holy Synod	47
<i>I. Shevelyov</i>	
Ego-documents as the sources for the study of the psychology of the participants of the First World War (on an example of the Smolyak's family archive)	61
<i>A. Astashov</i>	
Everyday life of reserve battalions of national guards on the eve of the February revolution	71
<i>V. Parsamov</i>	
Yu.G. Oksman and revolution of 1917	92
<i>A. Iurganov</i>	
Imaginism and LEF. Lifeworld of the Soviet literature in conflict opposition	109
<i>M. Odesskij, D. Feldman</i>	
"Lifeworld" in the duology about Ostap Bender. From "Twelve Chairs" to "The Golden Calf"	146
Abstracts	155
General data about the authors	159

Жизненный мир в истории России

От редактора

Категория «жизненный мир» известна относительно давно, – еще Эдмунд Гуссерль писал об этой проблеме в одной из своих ключевых работ по философии познания. В западной гуманитарной науке это понятие прижилось, чего не скажешь об отечественной исторической науке, пребывающей в плену «железных» (по умолчанию принятых) объективистских схем объяснения истории как истории по преимуществу политической. Нередко «жизненный мир» трактуют просто как «повседневность», которую никто не замечает.

Если оставаться в плену объективизма, исходя из того, что существует история «сама по себе», без живого, конкретного, контекстуального воплощения, то обращение к категории «жизненный мир» ничего не даст – только раздражение против тех, кто внедряет это понятие в категориальную сферу науки. Если же возникает желание менять гуманитарную науку, делать ее радикально более антропологической, чем об этом думали даже отцы-основатели Школы «Анналов», то придется задуматься над тем, что же меняет эта категория в исследовательской практике современного ученого.

Прежде всего, она касается исходной точки наблюдения: ведь в обыденной жизни мы «видим» через собственную привычку мыслить о чем-либо. Мы вовлечены в свой собственный жизненный мир, а значит не замечаем нашей детской привязанности к общепринятому. Изменение «точки наблюдения» означает только одно, – мы в состоянии подвергнуть сомнению *постулаты* нашей обиходной культуры, чтобы настроить себя на восприятие другого контекста, вписанного *в свою* – и потому иную – ситуацию жизненного мира. Иначе говоря, нет никакого одинакового и однородного, незабываемого и покоящегося в себе самом жизненного мира, а есть океан мыслей, страстей, смысловых привязанностей, которые только кажутся незабываемыми, а на самом деле изменчивы, динамичны.

Эдмунд Гуссерль был разочарован, когда понял, что «жизненный мир» непосредственно, целиком, не дан нам, как не дан нам целиком весь язык, хотя мы на нем говорим!.. Как же мы узнаем, что жизненный мир существует? Не идет ли речь о мистификации? Нет, не идет, хотя что-то чудесное в природе человека остается фактом совершенно бесспорным. Жизненный мир открывает себя через всякое принятое по умолчанию в том или ином контексте объяснение повседневности. Оно содержит в себе не только смысл производимый, но и смысл преданный. Ведь любое объяснение состоит из двух (по крайней мере) параметров: интенциональности и установки.

Интенциональность – это всякое смыслопорождение, установка – преданная актуальность этого смыслопорождения. Производя смысл во всякой интерпретации, мы исходим из уже готового (принятого по умолчанию) смысла, хотя не замечаем этого.

Таким образом, жизненный мир являет себя миру в конкретной *интерпретации* повседневности (не только бытовой, но и всякой: творческой, научной, той, которая способна объединять людей).

Жизненный мир – это *осмысленная* повседневность.

Соединение жизненного мира с историей дает нам возможность выйти на проблему «конвенциональных моделей» – о чем и говорится в теоретической статье доктора филологических наук, профессора А.В. Каравашкина. Мы познаем жизненный мир сквозь призму принятых в обществе коммуникаций. Сама история с точки зрения необъективистской науки – это жизненный *контекст и конвенциональность*, это живое сознание индивидуумов, связанных между собой общими мотивами жизни, творчества и т. д. Не все статьи в этом номере одинаково имеют отношение к проблеме жизненного мира, но те, которые к этой проблеме приближаются, освещают важную составляющую жизненного мира – саму повседневность, эмпирию жизни, не породившую еще мотивацию.

«Жизненный мир в истории России» – серия, которая задумана для каждого ежегодного восьмого номера «Вестника РГГУ», в котором будут излагаться не только теоретические аспекты необъективистской гуманитарной науки, но и конкретные результаты, в той или иной мере приближающие нас к искомой человеческой истории.

А. Юрганов

А.В. Каравашкин

Конвенциональные модели и «жизненный мир» в источниках культуры

Статья посвящена проблеме конвенциональных моделей в источниках культуры, тому, какова природа этого явления и как его обнаружить в тексте. Автор опирается на работы историков, семиотиков и лингвистов. В качестве примеров приводятся ссылки на средневековые памятники письменности.

Ключевые слова: Конвенциональная модель, «жизненный мир», номинация, коммуникация, адресант, адресат, источники культуры.

Сообщение есть не что иное,
как предложение сделать выбор,
есть побуждение.

Никлас Луман

Свобода человека является
предпосылкой истинной общ-
ности. Общность нельзя скон-
струировать, ее можно только
пережить.

Бьёрн Поульсен

Любые источники культуры являются своеобразными сообщениями, феноменами коммуникации, обладающими собственной иерархически выстроенной системой высказываний. Элементы этой системы подчинены намерениям адресанта, который не только рассчитывает на определенное воздействие, но и властно вторгается в сферу читательского восприятия, выступая в роли интерпретатора собственного текста.

Наиболее ярко, выпукло эти особенности источника как сообщения заявляют о себе в средневековых памятниках. Например, у восточных славян в пору становления исторического нарратива и проповеди основная ткань повествования и авторские комментарии разделялись достаточно четко. Поэтому в дальнейшем мы будем обращать внимание именно на такие примеры, которые помогут лучше понять, как соотносятся рассказ (номинативный уровень) и комментарии к нему, основанные на конвенциональных моделях (коммуникативный уровень). Комментарий создавался в расчете на читателя, на его вовлечение в сферу типичных объяснений.

Неизбежность такого подхода в значительной мере продиктована самой логикой средневековой книжности, которая в меньшей степени ставила перед собой задачи сокрытия истинных намерений сочинителя, но всегда обнажала их с предельной остротой и резкостью. Феномен аллегорических текстов, которыми так богата христианская традиция, может быть объяснен не стремлением создавать эзотерические, тайные сообщения, а своеобразной экономией средств. Памятник в данном случае следовало бы рассматривать не как шифrogramму, а как *партитуру*, в которой заранее расставлены необходимые указания и пометы, отсылающие читателя к тому, что и так хорошо известно: иначе и не могло быть в эпоху «готового слова», которая, по мнению А.В. Михайлова, может быть названа эпохой «морально-риторической словесности»¹. Не следует путать апелляцию к *само собой разумеющемуся*² (фоновые знания, герменевтический фонд) и подтекст. В чистом виде в древнерусской книжности он заявлял о себе довольно редко³.

Иными словами, следует различать две принципиально противоположные ситуации, когда автор осознанно скрывал от непосвященных ту или иную информацию и когда он лишь намекал на очевидное, обращаясь к «готовому слову»: ведь по природе своей источники культуры зачастую *не договаривают до конца*.

Описанная ситуация характерна для средневековой книжности, но не уникальна в принципе. Ведь обращаясь к прямым высказываниям, которые сопровождают рассказ, мы имеем дело с общекультурным феноменом, получившим широкое распространение как в древности, так и в Новое время, как в культурах традиционных, так и в современных. Теория интерпретации любого текста учитывает два плана сообщения, *номинативный* и *коммуникативный*⁴. Один рассчитан на то, чтобы изобразить или обозначить события, лица, обстоятельства, признаки предметов, действия, процессы. Другой призван объяснить читателю, адресату, каково значение представленного. Коммуникация нередко предполагает объяснение, ком-

ментарий, отношение повествователя к теме и объекту сообщения, т. е. систему *прямых высказываний*. Трудно не согласиться с тем, что речевые действия «служат не только для представления (или предвосхищения) состояний и событий, когда говорящий ссылается на что-либо существующее», но и «для установления (или возобновления) межличностных отношений, когда говорящий ссылается на что-либо в *социальном мире*» и «для манифестации переживаний, т. е. для самопредставления»⁵.

Казалось бы, изучение этого пласта источниковой реальности не таит в себе ничего необычного, а в методологическом отношении не представляет особой проблемы. Всем известно, как легко, можно сказать, механически, отделяется сюжет классической басни от ее «морали» (введения или концовки, содержащих полезное нравоучение). Но первое впечатление обманчиво. И здесь впрямую задуматься не только о том, что именно нам дано знать, но и о том, каким образом мы получаем это знание.

Самым примечательным гносеологическим парадоксом оказывается зависимость объекта от способов его исследования, точнее, от возможностей его конституирования. Наше отношение к объекту предопределяет его характеристики, а не наоборот. Это обстоятельство тем более важно, если вспомнить, что традиционные приемы манипулирования с древнерусскими источниками далеко не всегда приводят медиевиста к очевидностям жизненного мира⁶, к тем установкам, которые книжник манифестировал, рассчитывая на адекватное понимание современников. Только в случае прорыва в эту область актуальных для автора смыслов ученый имеет возможность посмотреть на свой объект как на источник культуры, непосредственно данный, стабильный, необратимый.

Непреднамеренные знаки и коммуникация

Принципиальная несводимость представленных стилей мышления или научных парадигм к задачам истории культуры станет более ясной, если мы попытаемся разобраться с тем многообразием данных, которыми оперируют историки и филологи, предлагая свои реконструкции.

Ценность свидетельств в большинстве случаев определяется их непреднамеренностью, поскольку традиционная наука нацелена на открытие законов и полагает, что и в гуманитарной сфере чем более неосознаваемым для участников процесса является результат, тем лучше для ученого, который может исследовать явление, очищен-

ное от всяких субъективных факторов. Закон потому и является законом, что он действует помимо намерений индивидов. Получается, что идеальная наука должна обнаружить не человека, но механизм, не чью-либо волю, но слепую повторяемость. Экономические, языковые, жанровые, социальные законы при таком подходе наделяются самостоятельным бытием, становятся особыми сущностями, выступают эквивалентом сверхъестественного в мифологии. Превращение источника в средство, или сырье, для реконструкции часто продиктовано его критикой, необходимостью получить надежные факты через голову автора, который оставил сообщение, априори не заслуживающее полного доверия. Исследователь, таким образом, имеет дело не с фактами сознания, а с фактами *вообще*, которые представляют отвлеченную объективную значимость для того, кто их обнаружил. Но знания по минералогии, которые может использовать искусствовед для своих реконструкций, не позволяют понять, что хотел сообщить художник современникам, очень далеким как от тайн изготовления пигментов, так и от тонкостей ремесла живописца. В культурных объектах сосредоточено много примет, но не все они говорят о самой культуре. Р. Якобсон рассматривал такие знаки, не имеющие отношения к процессу обмена информацией при межличностном взаимодействии, как «непреднамеренные индексы», по определению бессубъектные: «Тот факт, что их необходимо интерпретировать как сущности, служащие для выведения существования других сущностей... заставляет нас считать непреднамеренные индексы разновидностью знаков, однако мы не можем упускать из виду кардинальное различие между *коммуникацией*, которая имплицитно реального или предполагаемого адресанта, и *информацией*, источник которой нельзя считать адресантом тех знаков, которые интерпретируются их получателем»⁷.

Ошибки писца, как и отпечатки лап динозавра, едва ли имеют какой-то культурный смысл. Это следы, а не послания, приметы, а не значения. Свой семантический код улики приобретают только в контексте исследовательских конструкций, позволяя подтвердить или опровергнуть ту или иную гипотезу. Обширный слой информации добывается именно в напластованиях непреднамеренных знаков, не имеющих отправителя, то есть субъекта осмысленной творческой активности. Проговорки, просчеты, причуды памяти, незнание, случайные огрехи, – все эти факты могут приравниваться к проявлениям механического воздействия на объекты, когда сведения о событиях и процессах, имевших место когда-то, накапливаются помимо чьей-либо воли. Линия демаркации, отделяющая любое материальное присутствие от смыслового источника культуры,

проходит по границе осознаваемое/неосознаваемое, затрагивает степень намеренности, определяется выраженностью создающих интенций того, кто заинтересован в передаче информации⁸.

В этом смысле принципиальное для нас значение приобретает мысль Б.А. Успенского, который, пожалуй, первым из отечественных ученых так четко сформулировал задачи историка культуры: «Ведь даже если предполагать наличие каких-то объективных закономерностей, определяющих ход событий, наши действия непосредственно обусловлены не ими, а нашими представлениями о событиях и их связи. Такой подход предполагает, в свою очередь, реконструкцию системы представлений, обуславливающих как восприятие тех или иных событий, так и реакцию на эти события. В семиотической перспективе исторический процесс может быть представлен, в частности, как процесс коммуникации, при котором постоянно поступающая новая информация обуславливает ту или иную ответную реакцию со стороны общественного адресата (социума). <...> Итак, с этой точки зрения важен не объективный смысл событий (если о нем вообще можно говорить), а то, как они воспринимаются, читаются»⁹.

Вместе с тем значительный объем сведений, которыми располагают гуманитарные науки на основе изучения «непреднамеренных индексов», вовсе не относятся к той коммуникативной ситуации прошлого, которая, казалось бы, и должна быть в центре внимания исследователей. При таком подходе критика текста может быть уподоблена палеонтологии, а история напоминает собой совокупность естественно-научных гипотез об эволюционных мутациях. На связь естественных знаков с гипотезой и воображением обратил внимание еще А. Шюц: «Знание индикаций крайне важно с практической точки зрения, поскольку помогает индивиду трансцендировать за пределы мира, находящегося в его реальной досягаемости, связывая элементы, находящиеся в его пределах, с элементами, находящимися за его пределами»¹⁰. В науках, склонных оперировать предположениями, возрастает роль непреднамеренной информации, которая дает простор для гипотетически-дедуктивных построений.

Лишь в гуманитарно-философской и социологической науке последних десятилетий возник заметный интерес к самой специфике сообщения. Это связано с отбором значимых элементов и приобретает двоякую направленность, и с точки зрения того, кто адресует высказывание, и с точки зрения того, кто это высказывание получает. Создатель источника отбирает из многообразных фактов только то, что важно ему. Данный процесс

имеет направленный (интенциональный) характер. Сообщение – результат отбора, сосредоточения внимания на существенном, актуальном, ценном, предпочтительном. Получающий сообщение также имеет свою направленность интереса. Он выбирает из полученной системы высказываний только то, что важно и значимо в определенном ситуативном контексте, основываясь на своем опыте, который, как правило, не совпадает с опытом автора. Это естественно в том отношении, в каком можно говорить об интенциональности восприятия. Любой объект конституируется через постепенное обнаружение своих не выявленных сторон. И чем сложнее он, тем большее число потенциальных горизонтов может быть открыто воспринимающему, может быть тематизировано.

Итогом передачи сообщения становится не весь текст, но только то, что по разным причинам прочитывается, опознается как важное и значимое. Ясно, что содержание не переносится механически из одного источника в другой. Оно всегда обрабатывается, усваивается избирательно и бывает переосмыслено в русле тех причинно-следственных связей и договоренностей, в сфере которых находится воспринимающий. Неслучайно один из создателей теории социальных систем и коммуникации Н. Луман подчеркивал: «Говорят, что коммуникация переносит сообщения или информацию от отправителя к получателю. Мы попытаемся обойтись без данной метафоры. Метафора переноса не годится... Она внушает, будто отправитель передает то, что получает адресат. Это неверно уже потому, что отправитель ничего не отдает в том смысле, что сам утрачивал бы. Все метафоры обладания, владения, отдачи и приобретения, весь предметный метафоризм не подходит для понимания коммуникации»¹¹.

К сходным выводам приходили и отечественные ученые, занимавшиеся проблемой сообщения в рамках структурно-семиотического подхода. Так, Ю.М. Лотман в известной работе о трех функциях текста отмечал: «Если увидеть в адекватности передачи текста основной критерий оценки эффективности семиотических систем, то придется признать, что все естественно возникшие языковые структуры устроены в достаточной мере плохо. Для того чтобы достаточно сложное сообщение было воспринято с абсолютной идентичностью, нужны условия, в естественной ситуации практически недостижимые... Из этого неизбежно вытекает относительность идентичности исходного и полученного текстов»¹².

Но из того, что при коммуникации всегда велик риск творческого или ошибочного прочтения, следует только повышенное внимание к структурированию сообщения, к внедрению в него

особых метатекстовых элементов, которые побуждают читателя к истолкованию, к поиску ответов на вопросы в нужном для отправителя ключе.

Нельзя отрицать того, что отправитель, как правило, рассчитывает на понимание. Чтобы избежать слишком избирательного, однобокого, неверного усвоения транслируемых смыслов, автор должен сформировать восприятие, предопределить отбор значимого, спланировать направленность внимания, добиться нужного эффекта во взаимодействии с адресатом. С этой целью автор создает сообщение о своем сообщении, стремится выстроить систему меток, специальных маркеров, которые позволили бы верно относиться к его тексту. Автор, иными словами, прогнозирует сам способ конституирования информации получателем.

Первым интерпретатором источника зачастую становится его создатель. Он осознанно наделяет сообщение системой явных указаний, которые выступают в роли комментария, сопровождающего основной рассказ. Пользуясь терминологией теории социальных систем, можно сказать, что автор превращает свое сообщение в информацию, обеспечивая условия надлежащего понимания.

В медиевистической рустистике этот аспект источниковедения практически не оформлен в качестве самостоятельной научной отрасли. Не систематизирован и обширный корпус сведений, относящихся к работе средневекового книжника-интерпретатора. *Сообщения о сообщении*, которыми так богата средневековая книжность, еще предстоит изучить.

Методом такого исследования предпочтительнее считать реконструкцию, предполагающую, с одной стороны, путь от части (отдельный наблюдаемый признак) к целому (континуум или источниковая реальность) и, с другой стороны, обнаружение повторяющихся, типичных способов оформления высказывания. Этот подход позволит увидеть, что метатекстовые элементы не только обеспечивали относительную коммуникативную упорядоченность и прозрачность на пути от автора к читателю (а функционирование текста всегда осуществляется в качестве контакта интерпретаторов), но и служили сохранению, наследованию и обработке общественно-важных смыслов. Коммуникация предполагает социальность. До известной степени общество возникает там, где устанавливаются определенные способы передачи информации. Они используются по договоренности, на основе негласного взаимопонимания. Одной из важнейших составляющих культурной традиции является стремление к стабильности, к накоплению и транслированию предсказуемых сообщений, которые позволили бы объяснить все

индивидуальное, уникальное, непохожее в категориях, понятных участнику коммуникации.

Это явление, часто обозначаемое как «конвенциональность», Роман Якобсон с отсылками к знаменитой работе Пирса 1867 г. называл установлением и присвоением «произвольных»¹³ связей, которые предполагают наличие определенной согласованности. Принятое и преднамеренно одобренное обладает значительной степенью условности. Символические коннотации пронизывают собой все виды человеческой деятельности и до известной степени говорят о человеке и социуме больше, чем события истории, поскольку только через символы можно судить о том, как то или иное сообщество интерпретирует себя и свой контекст, внешнее окружение, как оно представляет себе универсум, находящийся за пределами непосредственного опыта. Подобного рода активность немислима без слаженного, согласованного действия, предполагающего общие релевантности, очевидности жизненного мира. В «манипулировании символами», рассчитанном на внешнего получателя, все конвенционально: «Человек есть поистине “animal symbolicum”, если понимать под этим термином его потребность, а вместе с тем и способность, приспособляться с помощью аппрезентативных отношений к различным трансценденциям, выходящим за границы актуального Здесь и Сейчас»¹⁴. Даже индексы (указательные знаки, распространенные в том или ином сообществе) и буквально понимаемые иконические изображения (картины, схемы, планы, предусматривающие фактическую близость объекта и его обозначения) не лишены конвенциональности, которой исполнена вся культура, на всех ее уровнях. Порой нам только кажется, что линейная перспектива в живописи – нечто само собой разумеющееся. Схождение линий на горизонте в одной точке и распределение предметов по степени приближения к наблюдателю – лишь одна из возможных конвенций, один из способов видеть мир: «Проекция трехмерного пространства на двухмерную плоскость посредством изобразительной перспективы любого типа является приписанным свойством, и, если на картине изображены два человека, один из которых выше другого, мы должны быть знакомы с особенностями определенной традиции, в соответствии с которой как более крупные могут изображаться фигуры, либо находящиеся ближе к зрителю, либо играющие более важную роль, либо действительно имеющие большие размеры»¹⁵.

Все участники коммуникации пользуются известным и типичным в соответствии с конвенцией своего времени. Это касается как естественного языка, на котором происходит общение, так и

вторичного моделирования, языка культуры, точнее, любой его конкретной разновидности. Для искусственного, условного языка, обслуживающего определенные сферы общения, характерна только большая специализация, стремление поставить взаимодействие в определенные рамки (язык кино, лирической поэзии, язык агнографических топосов, язык эпистолярной культуры).

Конвенциональные модели

Далее речь пойдет о феномене, который хорошо известен философам, лингвистам, социологам, этнологам, но по какой-то причине он не получил ясного описания в источниковедении, не был закреплён ни в исследовательской практике, ни терминологически. Мы воспользуемся своим термином «конвенциональная модель». Следует сразу расставить все акценты и пояснить, почему именно это обозначение типичного и повторяющегося в источниках культуры мы считаем предпочтительным и целесообразным. Само словосочетание «конвенциональная модель» не является новым. То и дело в научной литературе оно используется по самым различным поводам. Но здесь мы предпринимаем попытку более определительного и точного его применения. Конвенциональная модель представляет собой некую матрицу или общепринятый способ объяснять наличествующую данность. В повествовательных источниках это видно особо наглядно, поскольку то или иное событие может становиться предметом развернутого толкования. Очень часто установление причины того или иного происшествия является *конвенциональной моделью*. Иными словами, автор не просто описал событие, но и сумел раскрыть его смысл на основе вошедших в культурный обиход способов объяснения.

Например, с определенного момента на Руси у книжников вошло в привычку объяснять победы над врагом не доблестями полководца, а его благоверием и послушанием. Именно эти качества предопределяли счастливую развязку, поскольку на поле битвы появлялось небесное войско, целые полки ангелов, которые не только гнали врага, наводя на него ужас, но и решительно истребляли его. Если мы будем судить о данной красочной картине лишь на основе текста «Повести о житии Александра Невского», то может возникнуть некая иллюзия: только он так откровенно сравнивался с Иисусом Навином, который завоевывал землю Ханаанскую при непосредственном участии Бога. Значит, это якобы индивидуальная примета текстов, посвященных Александру, оставшемуся

в коллективной памяти в качестве исключительного, из ряда вон выходящего полководца, опиравшего на физическое содействие ангельских сил. Однако в летописных сообщениях, очень близких идеологически и стилистически жизнеописанию Александра, о Божественной помощи во время битвы говорится уже применительно к событиям XII в. Эта же ситуация переносится и на более поздние, чем Невская битва, эпизоды воинской истории. Только в соответствующем контексте та или иная интерпретация может быть опознана в качестве конвенциональной модели. При этом никакого значения не имеет, насколько искренне описывал чудесное событие тот или иной автор. Его мотивы, явные или скрытые, могли не заявлять о себе вовсе. Главное, как он манифестировал в тексте тот или иной знаковый эпизод. В итоге бывает важнее не то, о чем он писал и с какими тайными на этот счет мыслями, сколько то, *как* он выражал свои намерения. Последнее, по крайней мере, имеет не менее существенный исторический смысл, поскольку именно эти *внешние побуждения* помогали современникам автора представлять и осваивать действительность, оформляя ее в качестве пространства для коммуникации (впоследствии это пространство привычных объяснений мы будем называть «континуум», или «источниковая реальность»).

На первый взгляд, после работ исследователей идеологических конструкций и разнообразных идеологов, начиная с К. Гирца и его продолжателей, интерпретативная теория культуры или «семиотика» (читай, «герменевтика» в специфическом гирцевском понимании) давно освоили сферу правил и предписаний, регламентирующих поведение человека как субъекта культуры. Идеология стала общепризнанной областью исторических и филологических штудий, а задача изучения миропонимания человека уже поставлена и превращена даже в целый ряд практических рекомендаций для исследователя. С этим невозможно спорить. Однако, говоря о конвенциональных моделях, мы имеем в виду не только идеологию, хотя и ее тоже. Понятие «конвенциональная модель» шире представления об идеологическом творчестве, как жизненный мир шире любого из элементов, его образующих. Идеология лишь одна из специфических модификаций конвенционального в культуре. И вряд ли представление о всемогуществе Бога, который может запрещать ангелам тьмы действовать по злему умыслу, направляя их активность на выполнение благих дел, можно отнести только к идеологии. Конвенциональную модель легче всего представить как идеологему, но этой функцией регулятора общественных отношений ее роль, конечно, не ограничивается. Конвенциональная модель

обеспечивает производство любого развернутого объяснения. Она может включать в себя любые образы, метафоры, концепты, не обязательно, кстати, идеологические. Вообще панидеологизм некоторых теорий заставляет видеть в идеологии чуть ли не область продуцирования любых значений. В таком случае между идеологией и культурой вообще нет никакой разницы.

В той или иной мере конвенциональная модель может относиться и к живому верованию, и к соблюдению некоторых стандартизированных правил «игры», не предполагающих настоящего сочувствия, и к политической культуре, и к такому состоянию умов, которое не видит и не знает политики в качестве обособленной отрасли, и к религии, и к магии, и к диалогу с высшими силами, и к простым суевериям, и к рационализованному типу мышления, и к массовой культуре, живущей актуальными мифами и сиюминутными страстями. Сколько проявлений конкретного жизненного мира возможно, столько возможно разнообразных конвенциональных моделей и конкретно-исторических вариаций типичного объяснения. При этом у носителя какой-либо культурной общности всегда остается широкий выбор при воспроизводстве способов интерпретации событий, институциональных предписаний, норм и отступлений от них.

В современной гуманитарной науке в обращении находится множество понятий, которые используют лингвисты, литературоведы, социологи, психологи, философы. И некоторые из этих понятий близки тому, что мы обозначили как «конвенциональная модель». Чтобы яснее представить специфику того феномена, о котором идет речь, проведем предварительные разграничения.

Может возникнуть совершенно закономерный вопрос, а не дублирует ли «конвенциональная модель» такие широко распространенные в современной прагматике дискурса понятия, как «конвенциональный фрейм» или, к примеру, «макроструктура»? Нелишним будет напомнить и о том, что в современных теориях и практиках интерпретации давно используется термин «метатекстовые операторы». Наконец, современные медиевисты нередко пишут о «рече-поведенческих тактиках» и «топосах».

Очевидно, что все эти термины и стоящие за ними понятия имеют отношение к высказыванию, к тому, как подчиняется это высказывание определенным намерениям, к тому, как оно интерпретируется. И все же, допустив замену одного термина другим, легко внести путаницу, и это уведет как от интересующего нас феномена, так и от той части источниковой реальности, которая должна стать предметом анализа.

Фрейм представляет собой аналог предварительного знания или ситуативного/коммуникативного контекста, позволяющего в принципе понять, о чем идет речь. Фреймов великое множество, но, пожалуй, самой общей их особенностью является незакрепленность в самом высказывании. Они образуют внетекстовое пространство сообщения, и для историка культуры они во многих случаях не подлежат реконструкции. Это некий поток, подвижная среда, в которой была осуществлена или осуществляется в данный момент коммуникация.

Макроструктура представляет собой, напротив, нечто внедренное в само высказывание, его общий смысл, который выявляется благодаря ряду формальных приемов. Одним из них и бывают метатекстовые операторы, указывающие на членение, последовательность, обстоятельства речи, они внешне обслуживают адресанта, позволяют ему ориентироваться в коммуникативном пространстве.

Рече-поведенческие тактики являются типичными способами организации высказывания, своего рода формообразующими моделями. Они могут быть ориентированы на те или иные метатекстовые маркеры, могут использовать их. В целом это понятие находится на границе интенциональности автора и приемов оформления намерения в связный текст как систему высказываний. На первом плане здесь оказывается проблема композиции и жанра.

Наконец, топосы представляют собой предметную закрепленность типичных оборотов речи, мотивов, символов и формул в тексте. Топосы отличаются максимальной конкретностью, с одной стороны, и нередко дословным воспроизведением – с другой.

Ясно, что «конвенциональная модель» не совпадает полностью ни с одним из этих понятий. И несмотря на очевидную общность по некоторым позициям, она расходится с рассмотренными научными конструктами в другом, причем принципиально.

В отличие от фрейма конвенциональная модель находится не за пределами источника, а внутренне присуща ему. Она сравнительно легко верифицируется: во-первых, в силу того что оформлена как прямое высказывание, во-вторых, потому, что встречается в других источниках. В противоположность фрейму, конвенциональная модель играет роль явного ключа к высказыванию и одновременно позволяет определить место этого высказывания в системе значимых в культурном отношении типичных объяснений¹⁶.

Конвенциональная модель не является макроструктурой, поскольку не охватывает сообщения целиком, но представляет лишь некоторую его часть, пусть и важную для понимания текста как такового.

Метатекстовые операторы выполняют служебную функцию и в то же время они слишком конкретны в своей инструментальной приземленности; их семантика исчерпывается ролью своеобразных указательных знаков, индексов, пометок. Они так же соотносятся с мировоззрением автора и его ценностями, как этикетные формулы с действительным намерением говорящего. О них быстро забывают, как только они выполнили свою роль. Конвенциональная модель не может быть исключительно служебной, и даже если автор воспользовался ею в каких-то неизвестных нам целях, она слишком значима, типична и потому для данной культуры не проходит незамеченной. Нейтральным блеклым фоном она является порой лишь для внешнего наблюдателя, который все отступления от типичного рассматривает как эффектный прием. Для современника или соплеменника она говорит больше, чем для чужака. Итак, метатекстовые операторы сближаются со средствами естественного языка, а конвенциональные модели являются непременным элементом языка культуры.

Наконец, рече-поведенческие тактики, хотя и возникают в определенной культурной среде, там, где необходимо соотнести форму высказывания и его целеполагание, не детерминируют все авторские интенции. Ведь типичная форма, при всей ее важности для содержания, актуализируется в конкретной и непредсказуемой ситуации. До определенной степени рече-поведенческие тактики, овладение ими, их свободное или строго обусловленное варьирование становятся средством выражения каждый раз нового комплекса намерений. Порой можно предсказать жанр, но нельзя предсказать свободу выбора. Формой или структурой сообщения нельзя полностью запрограммировать его смысл, о чем в свое время весьма убедительно написал В.Я. Пропп¹⁷. Конвенциональные модели воспроизводятся в условиях относительной авторской свободы. К тому же они не имеют строго формального воплощения. Они сродни ментальным матрицам, а не композиционным трафаретам или устойчивому репертуару риторических фигур.

Топосы очень часто возникают там, где реализуется определенная конвенциональная модель. Но всегда ли их можно считать неотчуждаемым элементом или константой конвенциональности? Приходится признать, что практика изучения культурных традиций опровергает это предположение. Топосы как мотивы, символы, формулы отмечены завидным постоянством, регулярностью. До некоторой степени мы даже ожидаем их в том или ином контексте, что отчасти сближает их с конвенциональными моделями. Но в источниках возможна типичная интерпретация

без сопутствующих общих мест. Казалось бы, они запрашиваются или подразумеваются, но тем не менее по неизвестной нам причине отсутствуют. «Память, – отмечает Л.А. Софронова, – организует культуру в единое целое, где все составляющие связаны между собой, хотя некоторые из них “находятся в покое”, а другие активно действуют»¹⁸. Возможна и прямо противоположная ситуация, когда топосы буквально пронизывают текст, а смысл этой стратегии верифицировать трудно, поскольку автор не раскрывает своего замысла в конвенциональных прямых высказываниях. Ключ к целому бывает потерян. В отличие от общих мест конвенциональная модель играют первостепенную роль главного верифицирующего фактора¹⁹. Топос не довлеет себе. Его значение раскрывается в определенном контексте²⁰, существенную, но не единственную, разумеется, роль в формировании которого играют как раз конвенциональные модели.

Несмотря на принципиальную недоговоренность в процессе общения, несмотря на стремление экономить прямые высказывания, субъект культуры не может ограничиваться только символами, топосами, аллюзиями. Ведь и у наших современников запас символических значений может не совпадать, как не совпадает у разных людей, хотя бы и близких в культурном отношении, простой жизненный опыт. Эту механику «перевода» символов на язык описания выявил Р. Якобсон. То, что в гуманитаристике часто называют «метаязыком», является обычной интерпретацией. Сам автор сообщения прибегает к ней, когда требуется сказать о том же самом, но другими словами. Стратегия высказывания многомерна. Она должна учитывать неизбежное запаздывание сигналов, которые не вовремя приходят к адресату или усваиваются в искаженном виде. «Одна из важных заслуг символической логики, – замечал Якобсон, – перед наукой о языке состоит в особом выделении разграничения между *языком-объектом* и *метаязыком*. <...> Очевидно, что подобные операции, которые в логике называются метаязыковыми, отнюдь не являются изобретением логиков: ни в коей мере не замыкаясь в сфере науки, они составляют неотъемлемую часть нашей обычной языковой деятельности. Участники диалога нередко проверяют, используют ли они один и тот же код. “Понятно ли вам? Понимаете ли вы, что я имею в виду?” – спрашивает один, а слушающий сам может прервать речь собеседника вопросом: “Что вы хотите этим сказать?” В таком случае, заменяя сомнительный знак другим знаком из того же языкового кода или целой группой знаков кода, отправитель сообщения стремится сделать его более доступным для декодировщика»²¹.

Функция «конвенциональной модели» – в установлении соответствий, в том, чтобы развить равномерный континуум сообщения, избавиться при коммуникации от нежелательных нарушений. Конечно, в значительной мере такая модель остается «идеальной» в том смысле, который имел в виду М. Вебер²²: в данном случае программируется наиболее вероятный и правильный, с точки зрения информатора, тип понимания, а достигнет ли автор при этом своей цели, часто определяется другими причинами. Тем не менее прогнозируемый контакт – вещь настолько обычная при отправке сообщения, что без нее не могли бы обойтись ни одно сообщество, ни одна культура: «Разделенность в пространстве и часто во времени между двумя индивидами, адресантом и адресатом, преодолевается внутренним отношением: должна существовать определенная эквивалентность между символами, используемыми адресантом, и символами, известными адресату и интерпретируемыми им. Без такой эквивалентности сообщение бесполезно – даже если получатель сообщения воспринимает его, оно не воздействует на получателя должным образом»²³.

На первый взгляд, словосочетание «конвенциональная модель» содержит в себе некую тавтологию. Можно подумать, что модель как образец, готовая к воспроизведению схема или «выкройка», уже принимается многими по договоренности, и это соглашение свидетельствует о некоей добровольной условности, правилах, кем-то установленных. Модель, с этой точки зрения, есть нечто внедренное, опробованное, растиражированное. Но это не так. В любом конструкторском бюро на тысячу проектов придется в лучшем случае несколько сотен реализованных. Множество риторических предписаний и правил остаются на бумаге, поскольку они не востребованы на практике. В культуре много готовых образцов, но далеко не все из них получают признание. Иными словами, предложение опережает спрос.

Чтобы получить в глазах коллективного субъекта правомочный статус, модель должна пройти своеобразную «инициацию», стать существенным атрибутом обиходного слоя культуры (как правило, модель или комплект взаимосвязанных моделей незаменимы для представителей той традиции, которая их использует). Внедрение той или иной матрицы происходит, конечно, по-разному. Иногда в силу влияния официальной верхушки или по причине односторонней идеологической инициативы, иногда спонтанно. Нередко даже носителям социально одобренной нормы бывает трудно установить, что явилось причиной ее возникновения, и тогда на помощь приходит механизм легитимации, описанный в классической книге

Бергера и Лукмана «Социальное конструирование реальности». Социальный порядок, к которому принадлежат члены сообщества, постепенно начинает восприниматься натуралистически, как нечто само собой разумеющееся, как часть природного порядка, как объективная данность. Но это отношение к вещам и необходимым институтам при переходе от одного поколения к другому должно быть усвоено, т. е. тем, кому предстоит участвовать в поддержании старого порядка, важно передать знания об этом положении вещей (инцестуозные табу предполагают, что человек знает свое племя и его соседей, кодекс дворянской чести требует знаний о состоянии и границах сословий, дипломатический этикет выполняется на основе предварительных сведений о межгосударственных отношениях). И дело, конечно, не только в трансляции фактических данных, но и в ценностном обосновании норм, а это уже важнейшая разновидность *интерпретации*.

Но очень часто модель вырабатывается не в силу того, что так велит традиция, а по причинам прямо противоположным, в целях разрыва с традицией, для эпатажа, вызова общественному мнению. Такой выбор будет отличаться всеми признаками одностороннего решения. В современной культуре прекрасным примером функционирования подобных образцов может быть мода, в том числе и высокая, о чем в свое время писал Р. Барт: «...мы будем говорить, что система произвольна, если ее знаки основаны не на договоре, а являются продуктом одностороннего решения: в естественном языке знак не произволен, но он произволен в *моде...*»²⁴. Никто не будет носить вызывающие платья, но все понимают, что как некий образец для подражания они даны, даны в силу весьма узкого и непредсказуемого для социума выбора (воля модельера). Поэтому слово «модель» и не содержит коннотации «соглашение», «договоренность», «традиционность».

Значит, словосочетание «конвенциональная модель» предполагает очень существенное и, можно даже сказать, необходимое семантическое приращение. В данном случае имеется в виду не «образец» вообще, а то, что вошло в обиход, стало непререкаемым элементом языка культуры, фундаментальным *содержательным* аспектом коммуникации в том или ином сообществе. Именно конвенциональные модели являются важнейшими элементами и проявлениями жизненного мира, тем *само собой разумеющимся*, которое исследователь источников должен реконструировать.

Но сказанного недостаточно для того, чтобы понять специфику используемого нами термина. Если модель общепринята, внедряется в обиход по некоему соглашению (при всей условности этой

лексемы; конечно, мы далеки от мысли, что на самом деле имел место некий договор прежде, чем возник язык), то из этого не следует, что нам понятна роль традиции, что нам ясно, в чем заключено существо «канона», правил, единых оснований для общения.

Во-первых, общение двух представителей одной культуры или разных культур может проходить и без всякого усвоения традиции. Иногда бывает достаточно естественного языка (как на бытовом, так и на более высоком специальном уровне). Конвенция есть нечто избыточное по отношению к коммуникации, какой-то добавочный слой, смысл которого предстоит раскрыть (как избыточен дидактический комментарий по отношению к нарративу, описательной функцией которого адресант может довольствоваться). Например, летописцу достаточно рассказать о бедствиях той или иной земли, пострадавшей от врагов, чтобы быть понятым. Для этого вовсе не обязательны «конвенциональные модели». По аналогии с естественным языком вслед за Д. Дэвидсоном можно сказать, что «языковое общение не требует освоения конвенциональных шаблонов, хотя мы и используем их в общении достаточно часто»²⁵.

Понятно, что при общении обычным называнием, констатацией, номинативными возможностями речи дело не ограничивается. Одна из важных интенций говорящего предполагает «качество», то есть оценку, отношение, мнение. Иными словами, мы не только описываем ситуацию, но даем ей свое объяснение, выступаем в роли интерпретаторов. Именно эту оценивающую доминанту своего сообщения мы хотим передать окружающим, заражая их своими настроениями, своими идеями, своим «пафосом».

Человек относится к происходящему, к тому или иному положению дел, пребывая на уровне тех культурных привычек, тех очевидностей жизненного мира, которые его окружают²⁶. Таким образом, передавая информацию, мы не просто транслируем свое умонастроение, мы выражаем его подчас в привычных, общепринятых формах. Конвенциональная модель это один из типичных способов определять ситуацию, одно из общепринятых объяснений и оправданий, способных подчеркнуть значимость того или иного события или авторитетность высказывания: «Легитимация говорит индивиду не только почему он должен совершать то или иное действие, но и то, почему вещи являются такими, каковы они есть. Иначе говоря, “знание” предшествует “ценностям” в легитимации институтов»²⁷.

Последнее утверждение, как мы думаем, нуждается в некоторой коррекции. Дополнительный коммуникативный уровень (конвенциональная легитимация) призван не только передавать

информацию, но и всемерно интегрировать представителей социума, включая участника общения, в одобренный порядок, делая его адептом определенного образа мыслей и своего рода интерпретатором. Здесь межличностное взаимодействие наиболее эффективно с точки зрения результативности. При этом трудно сказать, что в данном случае все-таки важнее – знания или ценности. Правильнее говорить об их теснейшем синтезе.

Подчеркнем еще раз, что типичные объяснения необязательны, теоретически их может и не быть. Но коммуникация, если это факт культуры, всегда избыточна. Вдогонку знаниям отправляется целая гамма настроений, мыслей, оценок. Именно они и позволяют, в первую очередь, судить о субъекте высказывания как о «референте» определенной традиции.

Во-вторых, говоря о традиционализме, мы чаще всего представляем себе набор мертвых схем, индикации какой-то неподвижной, неживой культуры, которая овладевает человеком, и что бы он ни сказал, все оказывается в его речи наследием нежизнеспособного прошлого. Так нередко думают об удушающих объятиях канона или о тотальной власти «этикета», системы принудительных норм. Это мнение нуждается в коренном пересмотре.

Очень часто в культурах традиционного типа нормативность выражена слабо. В значительной мере это касается и культуры древнерусской, обходившейся во многих сферах без жестких предписаний на протяжении веков. Культура не договаривает до конца именно потому, что не спешит превращать свои знания и очевидности в нормы, т. е. в свод закреплённых в письменном виде правил. На Руси до XVII века вообще не было нормативных «грамматик», «риторик», «поэтик», и все прекрасно обходились без этих руководственных текстов. Происходило это по причине некодифицированности требований. Они нигде не были обозначены. Авторы исходили из «узуса», привычки или обычая, которые передавались, конечно, от поколения к поколению, но не были достаточно внятыми. Канон в данном случае был лишь совокупностью возможных образцов, круг которых очень трудно выявить современному исследователю. Реконструкция фоновых знаний того или иного творца представляет собой отдельную проблему.

Но именно эта незакрепленность традиции, некоторая ее текучесть, аморфность определяли высокую меру свободы автора. Вот что по этому поводу говорил С.Н. Бройтман: «Многие считают, что канон – система неких правил, данных извне, нечто вроде принудительного закона, стоящего над человеком и художником. Для изучаемой нами эпохи это не так. Для нее канон – не столько данные

извне правила, сколько заданные порождающие принципы произведения искусства. В этом качестве он не обязательно жесток – он допускает большую (в принципе неисчерпаемую) свободу вариаций и сам по себе неопределим сколько-нибудь однозначно, ибо его моделью является творческий акт Бога»²⁸.

Итак, традиция – не мертвая схема, а живая *возможность выбора*. Канон – не готовый образец, а ясно очерченное пространство самоопределения, область реализации свободы.

В-третьих, мы еще не прояснили такую функцию конвенциональных моделей, как их *регулярность*. Между тем это важно не только для оправдания используемого термина, но и для того, чтобы растолковать практическую сторону работы. Ведь речь пойдет не только о специфике явления, но и о том, как его исследовать. Говоря о конвенциональности в общении, Д. Дэвидсон отмечал: «Чтобы конвенция ... могла иметь место нечто должно повторяться во времени»²⁹.

Стоит добавить, что опознать конвенциональную модель представителю одной культуры, если речь идет для него об иной, внешней культуре, бывает практически невозможно. Единственный путь установить, что для определенной эпохи и определенного сообщества значимо, это обнаружить регулярность, повторяемость высказывания. При этом может воспроизводиться не столько форма, сколько сущность интерпретации, ее смысловое ядро.

Примечания

- ¹ Михайлов А.В. Историческая поэтика в контексте западного литературоведения // Историческая поэтика: Итоги и перспективы. М., 1986. С. 53–54.
- ² В данном случае мы подразумеваем комплекс готовых знаний, очевидностей, подробное истолкование которых далеко не всегда необходимо, поскольку тот, кто производит сообщение, автоматически приписывает это знание Другому. На этом и построено взаимодействие субъектов культуры. Общие очевидности – это и есть их жизненный мир.
- ³ О подтексте см.: Камчатнов А.М. Подтекст: термин и понятие // Филологические науки. М., 1988. № 3. С. 4–45.
- ⁴ Общественная природа коммуникации видна не только в санкционированном выборе сочетаний слов, но и в индивидуальном их выборе. Об этом, а также о номинативном и коммуникативном аспектах речи см.: Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура. М., 2005. С. 140 и др.
- ⁵ Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. СПб., 2006. С. 203.

- ⁶ Категория «жизненный мир» получает в современной философской и социологической литературе порой слишком разноречивые и трудно согласуемые толкования. Мы останавливаемся на определении Ю. Хабермаса, которое для наших целей представляется наиболее ясным и предпочтительным: «Тот или иной общий для многих жизненный мир предлагает определенный запас культурных самоочевидностей, из которого участники коммуникации в своих интерпретативных усилиях заимствуют устраивающий всех образец истолкования» (*Хабермас Ю. Указ. соч. С. 202*).
- ⁷ *Якобсон Р. Избранные работы. М., 1985. С. 325.*
- ⁸ Иными словами, наиболее точный способ понять культуру эпохи заключается в поисках самопрезентаций прошлого, рассчитанных на внешнего получателя, адресата. С этой точки зрения совсем иной смысл приобретает традиционная герменевтическая установка – понять автора. От источников культуры меньше всего стоит ожидать приглашения в потаенную область скрытого смысла, чужой субъективности, душевной жизни, психологии. Все эти попытки ответить на вопрос, каким был человек отдаленного времени в его объективной ипостаси, лишены смысла, поскольку мы не имеем возможности преодолеть конкретное сознание. Ведь нам не дан человек сам по себе, а только модусы его восприятия (в том числе и самовосприятия). Во внешнем выражении остаются поверхностные слои, те движения, которые могут быть понятны другим, включены в наличный запас знания.
- ⁹ *Успенский Б.А. Избранные труды: В 3 т. М., 1996. Т. 1. С. 11–12.*
- ¹⁰ *Шюц А. Избранное: Мир, светящийся смыслом. М., 2004. С. 481.*
- ¹¹ *Луман Н. Социальные системы. СПб., 2007. С. 195 и сл.*
- ¹² *Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров: Человек – текст – семиосфера – история. М., 1996. С. 13–14.*
- ¹³ Произвольность в данном случае следует понимать только как дистанцию между знаком и тем, на что он указывает, как условность отношений между означающим и означаемым. Тот или иной объект (например, автомобиль) может быть изображен непосредственно (картина, фотография, схема), а может быть только обозначен (условная метка, слово, образное высказывание). Последний тип означающих и будет конвенциональным, поскольку только символ предполагает соглашение, договоренность, когда между знаком и объектом, на который он указывает, нет сходства. Более сорока лет назад Р. Барт провел разграничение «произвольности» и «мотивированности» знака. Под первой он предлагал понимать своевольное решение по установлению знаков, под второй – отношение аналогии между означающим и означаемым (*Барт Р. Основы семиологии // Структурализм: «за» и «против». М., 1975. С. 136*). Любая конвенция одобрена, становится частью традиции, привычки, нормы и узуса. В этом смысле ни о какой произвольности, разумеется, говорить не приходится. Наоборот, налицо стандартизация, которая необходима сообществу, чтобы сохранять контроль над коммуникацией. Типичные сообщения

и типичные реакции позволяют организовать взаимодействие, оберегая его от всего случайного. О неприменимости по отношению к естественному языку понятия «произвольность» см.: *Степанов Ю.С.* Методы и принципы современной лингвистики. М., 1975. С. 304; *Лебедев М.В.* Стабильность языкового значения. М., 1998.

¹⁴ *Шюц А.* Указ. соч. С. 526.

¹⁵ *Якобсон Р.* Указ. соч. С. 322.

¹⁶ «Фрейм» мы понимаем здесь так, как толковал его представитель лингвистики текста Т.А. Ван Дейк. Именно как концептуальный конвенциональный фрейм, имеющий отношение к типичным сценариям поведения, позволяющий адекватно интерпретировать эти сценарии (См.: *Ван Дейк Т.А.* Язык. Понимание, Коммуникация. Благовещенск, 2000. С. 16–19). Эта оговорка необходима, поскольку существует множество концепций, объясняющих «фреймы» и «фреймирование». Например, фрейм в теории политической деятельности имеет свою специфику и в чем-то, безусловно, напоминает актуальную формирующуюся конвенциональную модель. См.: *Яноу Д., Ван Хульст М.* Фреймы политического: от фрейм-анализа к анализу фреймирования // Социологическое обозрение. 2011. Т. 10. № 1–2. С. 87–113.

¹⁷ Структурная повторяемость, которой Пропп придает статус закона, не препятствует, с точки зрения ученого, большой свободе сказителя, возможности привносить такие элементы, которые не могут быть по определению предписаны жестким каноном. Сказочник свободен в выборе функции, в выборе способов ее реализации, в выборе номенклатуры и атрибутов действующих лиц. Эта свобода характеризуется как «полнейшая» (*Пропп В.Я.* Морфология сказки. Л., 1928. С. 123–124. Репринт). Об этом см.: *Косиков Г.К.* «Структура» и/или «текст» (стратегии современной семиотики) // От структурализма к постструктурализму: Французская семиотика. М., 2000. С. 20.

¹⁸ *Софронова Л.А.* Культура сквозь призму поэтики. М., 2006. С. 689.

¹⁹ Эту примечательную особенность «памяти» демонстрирует исследование К. Гинзбурга, который сосредоточился на взаимопроникновении визуального и смыслового рядов. Один и тот же топос функционирует в контексте различных способов его объяснения. Сходная зрительная формула (указующий перст или простертая рука) на плакатах разного времени приобретает разный смысл, обыгрывается, наделяется новыми коннотациями. Плакат, как никакой другой вид искусства Нового времени, находится на пересечении лозунга и образа, идеи и повторяющегося мотива. Это явление Гинзбург со ссылками на труды Г. Бинг, представляющую научное направление Института Варбурга, назвал «Pathosformeln» или «formulas of emotion» (в русском переводе «формулы патоса»). Конкретные средства выразительности, символы высокого напряжения и эмоций могут использоваться для воплощения самых разных смысловых намерений. См.: *Гинзбург К.* «Ты нужен своей стране»: исследование из области политической иконографии // Одиссей. М., 2005. С. 210–211.

- ²⁰ Об этой особенности средневековой поэзии см.: *Эюлттор П.* Опыт построения средневековой поэтики. СПб., 2003. С. 185–190. Теоретик средневековой поэтики определяет важность так называемых дистрибутивных факторов, т. е. переносит силу внимания с отдельных повторяющихся признаков целого на самое целое, на исследуемый источник как систему взаимообусловленных элементов.
- ²¹ *Якобсон Р.* Два аспекта языка и два типа афатических нарушений // Теория метафоры / Сост. Н.Д. Арутюновой. М., 1990. С. 119. В цитате разрядка автора передается курсивом.
- ²² *Неусыхин А.И.* «Эмпирическая социология» Макса Вебера и логика исторической науки // Вебер М. Избранное: Образ общества. М., 1994. С. 641.
- ²³ *Якобсон Р.* Два аспекта языка... С. 115.
- ²⁴ *Барт Р.* Указ. соч. С. 136.
- ²⁵ *Дэвидсон Д.* Общение и конвенциональность // *Философия, логика, язык* / Под ред. Д.П. Горского, В.В. Петрова. М., 1987. С. 213–233.
- ²⁶ Чтобы не оказаться в ловушке объективизма, приписывающего сознанию вторичную роль зеркала, которое отражает, хотя бы и неполно, действительность, отметим, что речь идет о сложном процессе конституирования (о процессе конституирования на примере анализа опыта пространства см.: *Мерло-Понти М.* Пространство // *Интенциональность и текстуальность: Философская мысль Франции XX века.* Томск, 1998. С. 27–95). И неважно, о конституировании каких объектов идет речь: о пространстве, координаты которого могут быть оформлены сознанием, или о наличном общественном мнении, включающем как социально одобренные знания, идеологемы, мифы, так и легитимации институтов, установлений, обычаев. Сознание конституирует как внешние не только физические, но и любые intersубъективные и социальные данности, а человек, оказываясь вовлеченным в отношения с себе подобными, строит свое поведение в русле типичных определений ситуации, что образно подметил А. Шюц: «Человек изначально находится в окрестностях, уже “картографированных” за него другими» (*Шюц А.* Указ. соч. С. 517).
- ²⁷ *Бергер П., Лукман Т.* Социальное конструирование реальности: Трактат по социологии знания. М., 1995. С. 154.
- ²⁸ *Бройтман С.Н.* Историческая поэтика. М., 2001. С. 140.
- ²⁹ *Дэвидсон Д.* Указ. соч. С. 229.

Колдун на престоле:
легенды и слухи о Лжедмитрии I
как царе-самозванце

В статье рассматривается «легендарная биография» Лжедмитрия I, созданная его противниками и распространившаяся как в письменных, так и в устных текстах. В центре внимания – официальная легенда о ложном царе, колдуне и слуге дьявола, транслировавшаяся правительством Годуновых и Василия Шуйского, а также ее рецепция в «низовой» среде.

Ключевые слова: политическая мифология, Смутное время, самозванство, Лжедмитрий, демонизация правителя.

В этой статье речь пойдет о мифологической биографии первого самозванца русской истории, однако в центре внимания будет не известная версия о спасенном царевиче, то есть не та биография, которую выстраивал сам претендент на московский трон и его сторонники, а ее «негативное отражение» – легенда о ложном царе, колдуне и слуге дьявола. Легенда развивалась в двух вариантах. Книжники первой четверти XVII в. писали о Лжедмитрии как об Антихристе, актуализируя эсхатологический миф¹. Я хочу перенести акцент на другой круг текстов – нас будут интересовать легендарные сведения о «Юшке Отрепьеве», которые, в отличие от идей, подробно разработанных всего несколькими авторами, циркулировали в публичных документах (грамоты, послания и проч.) и в «низовой» среде.

В период Смуты рассказы о ложном царе активно распространялись правительством Бориса и Федора Годуновых, а затем Василия Шуйского и – в том или ином виде – бытовали устно. Исторические тексты сохраняют как «официальную» легенду о Лжедмитрии (в разных вариациях), так и отражение различных слухов и толков.

Если версия самозванца о чудесном спасении и возвращении на «родительский стол» была рассмотрена в работах целого ряда исследователей (основные структурные компоненты этой легенды в разные исторические периоды проанализировал К.В. Чистов²), то миф противников самозванца не привлекал такого пристального внимания. Однако он играл не менее важную роль в политической борьбе XVII в. – более того, именно во взаимодействии мифов о самозванце и истинном наследнике формировалась легенда самого Лжедмитрия, а впоследствии и новых «царевичей».

В этой статье я проанализирую три группы текстов, которые, в том или ином виде, говорят о самозванце, занявшем московский трон. Прежде всего, это легенда о воре и колдуне Отрепьеве, сконструированная в посланиях московского правительства в 1604–1605 гг. (до воцарения Лжедмитрия) и в 1606 г. (после его убийства). Кроме того, это отдельные рассказы из сочинений начала XVII в., которые – насколько можно судить – отражают распространявшиеся устно слухи о ложном царе. Наконец, третья группа – исторические песни о Гришке Отрепьеве, зафиксированные в XVIII–XIX вв. Нужно будет проследить, из каких элементов конструировался образ самозванца на каждом этапе и что перешло в устную традицию (точнее – те ее фрагменты, которые известны сегодня по сохранившимся записям) из легенды, активно насаждавшейся в правительственных грамотах.

Легенда о колдуне vs легенда о наследнике

Борьба мифов началась в 1604 г., когда обе стороны – московская власть и самозванец – принялись активно рассылать письма и воззвания. Узнав о появлении в Польше «спасенного наследника», московское правительство отправило в Речь Посполитую грамоты, пытаясь убедить потенциальных сторонников Лжедмитрия, что новоявленный царевич на самом деле монах-расстрига Григорий (в миру – Юшка) Отрепьев, чернокнижник и еретик, а настоящий Димитрий Иванович «поколел сам себя» в Угличе³. В свою очередь, сторонникам самозванца необходимо было доказать, что за царские регалии воюет чудом спасшийся наследник, представитель прежней династии: это давало неоспоримые права на московский трон, занятый «холопом». В грамотах самозванца подчеркивалось, что на престол своих прародителей идет прирожденный государь, которого тщетно пытался убить в детстве Борис Годунов. Людей призывали покориться истинному царю, апеллируя, прежде всего,

к идее о богоизбранной династии – мужской линии ветви Калитичей – и к традиции престолонаследия от отца к сыну: обе идеи в XVI в. формировали ядро идеологии Московского царства. Кроме этого, Лжедмитрий напоминал о крестном целовании, присяге, которую люди приносили Ивану Грозному и его потомкам: «И вы б наше прирожение попомнили православную християньскую истинную веру и крестное целование, на чем есте крест целовали отцу нашему»⁴. Представление о святости крестного целования и небесной каре клятвоступников в земной и посмертной жизни в XVI–XVII вв. было крайне актуальным и оказывало влияние на многие социальные практики (суд, присягу и т. п.). Целуя крест государю, люди «отдавали ему свои души», делегируя власти часть ответственности за свое спасение на Страшном суде; нарушить присягу означало «погубить душу», быть отлученным от Церкви, приблизиться к вечной гибели⁵.

Ответные действия московского правительства были максимально сильными. Патриарх Иов наложил на Лжедмитрия анафему. Грамоты, рассылавшиеся по городам, описывали смерть царевича Димитрия в Угличе, предписывали молиться за законного помазанника и проклинать вора и расстригу⁶. Сторонники Годунова убеждали людей, что в стране объявился не царевич, но самозванец, отступник, который мечтает установить в России костелы «латынские и люторские». Людей призывали помнить крестоцелование, принесенное Борису и его детям (после внезапной смерти Бориса – оставаться верным Федору Годунову). Представления о святости присяги играли ключевую роль с обеих сторон; оставалось только понять, какая клятва благая и какая «злая», а это, в свою очередь, зависело от того, чье объяснение одержит верх. Сторонникам Годунова необходимо было найти аргументы, разрушающие чужой миф и подтверждающие истинность своего.

Приведенные доказательства относились, прежде всего, к биографии самозванца. В грамотах, распространявшихся сторонниками московской власти во время войны с Лжедмитрием и после его свержения, утверждалось, что «сын Грозного» на самом деле монах, поправший свой сан. «Расстрига» – одно из самых распространенных наименований Лжедмитрия I. Этот «штрих биографии» представлял собой мощное оружие: в соответствии с каноническими правилами, расстригшийся чернец – еретик, подлежащий проклятию⁷. Один из книжников Смутного времени, дьяк Иван Тимофеев, специально пересказывал читателям историю о мучительной смерти и адских страданиях монаха-расстриги⁸. В посланиях из столицы самозванца называли чернокнижником, вступившим в стовор

с сатаной, и параллельно апеллировали к биографии истинного царевича: в патриаршей грамоте в Сольвычегодск (14 января 1605 г.) о молебне по случаю войны с Отрепьевым подчеркивалось, что сын Ивана погиб в Угличе и не может воскреснуть до Страшного Суда⁹. Такая аргументация утверждала греховность веры в «воскресшего» наследника, фактически приравнивая его сторонников к еретикам. По ряду свидетельств, в период борьбы с самозванцем царевичу Димитрию начали петь вечную память в московском Успенском патриаршем соборе, что плохо согласовывалось с официальной версией о его самоубийстве, но утверждало мысль о его кончине¹⁰. Наконец, в ряде памятников специально подчеркивалось, что Дмитрий Углицкий был незаконнорожденным сыном Грозного от седьмой жены и не имел бы прав на престол, даже если бы воскрес из мертвых¹¹.

Обличительные тексты, рассылавшиеся из Москвы, оказывали влияние на легенду самозванца. Довольно быстро она обогатилась деталями, способными отвести прозвучавшие обвинения и логично (в рамках уже созданного мифа) обелить претендента. Чтобы развенчать идею о том, что он измыслил всю историю о своем спасении, Лжедмитрий, в свою очередь, обвинил во лжи Годунова: в послании Борису самозванец утверждал, что царь виновен не только в попытке умертвить законного наследника в детстве, но и в том, что он оклеветал его перед братом, царем Федором Ивановичем – в результате навета Федор поверил, что его младший брат оказался самоубийцей, а следовательно, его нельзя хоронить в Архангельском соборе, как других правителей, и поминать в церкви¹². Еще более изысканный ход был придуман для нейтрализации обвинений в том, что «воскресший царевич» на самом деле беглый монах-расстрига. Лжедмитрий не стал опровергать сам факт наличия колдуна-Юшки, но представил миру «истинного» Отрепьева – чернокнижника и еретика, не имевшего к нему никакого отношения¹³. Таким образом, все аргументы правительства Годунова терпели фиаско: страшный грешник, о котором писали из Москвы, существовал, но истинный царь поймал его и везет за собой в клетке, демонстрируя своим подданным абсурдность обличительных московских грамот.

В начале 1605 г. Борис внезапно умер, его наследника и семью вскоре убили, самозванец занял Московский трон, и миф о спасенном царевиче официально восторжествовал на год его правления. В грамотах Лжедмитрия подданным даровалось прощение за грех, который традиционно признавался губящим душу человека: нарушение крестоцелования государю (и служба холопу-цареубийце).

Однако после свержения «сына Грозного» в 1606 г. прежняя борьба разгорелась с новой силой. В массе правительственных грамот (Известительной июня 1606 г. и др.) вновь описывалась история бегства Гришки Отрепьева из России в Польшу, а кроме того, приводились документы, созданные в период царствования самозванца (прежде всего – переписка Лжедмитрия), показания его секретаря Яна Бучинского и др. – здесь говорилось о намерениях псевдо-Дмитрия перебить бояр, привести Россию в католичество, отдать огромные территории во владение Марине Мнишек и т. п. По городам разослали отречение Марии Нагой от «сына», признанного ею из страха. Мощи Дмитрия Углицкого перенесли в столицу, и Церковь канонизировала его как страстотерпца – версия самоубийства оказалась отмечена, убийцей наследника признан Борис. С 1606 г. поддержка любого «Дмитрия» оказывалась равносильной отвержению Церкви. Несмотря на это, власть Бориса была представлена законной: мощи Годуновых перенесли при Шуйском в Троице-Сергиеву лавру, и семью начали помянуть в числе погибших правителей. Это не соответствовало представлению о том, что коронованный боярин был нераскаявшимся цареубийцей, но, во-первых, подкрепляло идею избрания как легитимного способа обретения власти (что было на руку второму избранному царю, Василию Шуйскому), а во-вторых, подчеркивало греховность сторонников Лжедмитрия, которые не только убили семью Годунова, но и осквернили его гробницу. Наконец, после воцарения Шуйского людям вновь было даровано прощение – на этот раз за нарушение присяги Годуновым и службу холопу-еретику. Этот акт приобрел форму церковного покаяния: разрешительная грамота Иова начала 1607 г. стала ответом на покаянную челобитную от народа, и была подписана после поста и совместного служения двух патриархов, прежнего – Иова и нового – Гермогена¹⁴.

Миф о царе-самозванце получил интересное развитие в начале XVII в. На первом этапе, в период борьбы Лжедмитрия за престол (1604–1605), его представляли как вора, еретика, расстригу и чернокнижника. В 1606 г., после свержения ложного наследника, обличительная аргументация оказалась развернута за счет рассказов о замыслах Лжедмитрия против Церкви и бояр. Наконец, на третьем этапе авторы сочинений о Смутном времени (тексты формировались в основном в период 1610–1620-х гг.) представляли самозванца как возможного Антихриста или его предтечу, который пытался исполнить древний замысел сатаны и осквернить русские церкви, в результате чего на земле наступило бы царство дьявола, за которым должно последовать Второе Пришествие и Страшный

суд. В действиях правителя усматривали уже не колдовство, но желание выдать себя за Спасителя: волей книжников Лжедмитрий превращался в Лже-Христа¹⁵. Такая версия вписывала рассказы о самозванце в контекст эсхатологических ожиданий позднего средневековья, однако она, в отличие от легенды о царе-колдуне, не оказала влияния на фольклор.

К.В. Чистов свел в единую схему фольклорные мотивы, характерные для русской легенды о возвратившемся царе. В виде схемы можно представить и ключевые мотивы мифа о самозванце, формировавшегося в посланиях московского правительства (Годуновых, а затем Василия Шуйского).

Миф правительства; в том числе идеи, распространявшиеся *после смерти Лжедмитрия I* (курсивом)

А. Царевич не имел прав на престол (незаконнорожденный)

В. Царевич умер

В1. «Поколот сам себя»

В2. Не может воскреснуть до Страшного суда

В3. *Был убит*

В4. *После смерти стал святым*

С. Претендент – самозванец Гришка/Юшка Отрепьев

С1. Его изобличают спутники и свидетели

С2. *Его изобличает мать (признала его ранее из страха)*

Д. Претендент – воплощение зла

D1. Вор, пьяница, лжец и проч.

D2. Монах-расстрига

D3. Стронник католичества

D4. Стронник протестантизма

D5. Стронник «ереси фортуны»

D6. Колдун, слуга дьявола (прельщает «бесовскими мечтаниями»)

D7. *Хотел истребить православие (по замыслу римского папы и дьявола)*

D8. *Хотел отдать земли иноверцам*

D9. *Хотел перебить бояр и «многих людей»*

Е. Поверившие претенденту губят свои души

Е1. Попав под церковную анафему

- E2. Нарушив крестное целование Борису Годунову (*Федору Годунову*)
 E3. *Погубив законных царей – Годуновых*
 E4. *Не поверив святому царевичу-страстотерпцу*

Сопоставив этот миф с аргументами, приводившимися в грамотах самого Лжедмитрия, мы увидим, где находились основные точки заочной полемики.

Миф самозванца с учетом позиции правительства (подчеркнуто) и после убийства Годуновых (курсивом)

A. Царевич – природный государь, наследник Ивана IV

B. Царевич не умер

V1. Убийцы, посланные Годуновым, зарезали другого

V2. Годунов приписал Дмитрию грех самоубийства

C. Царевич – не самозванец

C1. Гришку Отрепьева узнали в другом человеке

C2. Патриарх и «все люди» признали царевича

C3. Царица-мать признала сына

D. Царевич – благочестивый человек

E. Не поверившие царевичу губят свои души

E1. Нарушив крестное целование его отцу, Ивану IV, и его детям

E2. Служа холопу – грешнику и цареубийце

Как видим, легенда о Лжедмитрии-Отрепьеве была сфокусирована на идеях о греховной нечистоте и дьявольской природе самозванца. Схожие идеи укрепились и в фольклоре: образ Лжедмитрия как демонизированного врага, еретика и колдуна по-своему конструировался в актуальных слухах и в исторических песнях.

Слухи и толки:
 строитель ада и нечистый покойник

После убийства Лжедмитрия I в мае 1606 г. его труп, обряженный в шутовскую маску, был выставлен на поругание. Насколько можно судить, довольно быстро по Москве распространились

слухи, демонизировавшие убитого царя: русские книжники начала XVII в. не только уподобляли самозванца Антихристу или его предтече, но и включали в свои описания мотивы, явно циркулировавшие в устной среде. Кроме ссылок на народную молву (которые, естественно, не доказывают, что та или иная идея не принадлежит самому автору сочинения) об этом свидетельствует, во-первых, фиксация однотипных сведений в разных, генетически не связанных текстах, а во-вторых, принадлежность определенного круга мотивов не книжной, а народной традиции. Все это можно проследить в историях об убитом самозванце.

На фольклорной топике основаны, прежде всего, рассказы о событиях, происходивших с трупом Лжедмитрия: в разных вариациях они вошли в повести, созданные вскоре после переворота 1606 г. Тело царя оставили незахороненным; по ночам люди слышали, как над ним плясали и играли музыку бесы; в ночи появлялись огни и другие устрашающие знаки; сатана радовался пришествию второго Иуды; в стране начались бедствия – неурожай, засуха, мороз («и аер стал неблагонаравие плодिति, облацы дождю не даша, не хотяща его ... тела омыти, и солнце не возсия на землю согревати, и паде мраз...»); чтобы прекратить катаклизмы, труп отыскивали и сожгли¹⁶. Если упоминание демонов и Иуды относятся скорее к книжной риторике, то остальные мотивы принадлежат традиционной славянской культуре – перед нами комплекс представлений о нечистом покойнике (умершем колдуне, человеке, погибшем «злой», преждевременной смертью и т. п.), в которого превратился убитый самозванец. В XVI в. Максим Грек описывал эти поверья и обрядовую практику: русские не погребают утопленников и других погибших (имеется в виду – «напрасной», случайной смертью), но оставляют их тела незахороненными на поле, обнеся кольями, если же весенние заморозки начинают вредить посевам, приписывают это влиянию нечистого мертвеца, которого кто-то захоронил, находят и извлекают его тело: «...раскопаем окаяннаго и извержем его негде дале и не погребена покинем... по нашему премногу безумию виновно мняще быти погребение его»¹⁷. В XIII в. о том же писал Серапион Владимирский¹⁸. Народное представление отчасти подкреплялось церковной практикой – умершие «напрасной смертью» до конца XV в., как правило, не подлежали христианскому захоронению¹⁹. Характерно, что истории о чудесах вокруг тела Отрепьева пересказывают не только русские, но и иностранные авторы, причем они утверждают, что Лжедмитрия захоронили вне кладбища (на скудельнице), а после того как установились холода и люди начали говорить о страшных знамениях над местом похорон,

труп выкопали и сожгли²⁰. Вероятнее всего, слухи о нечистом покойнике возникли вскоре после убийства самозванца и заставили избавиться от тела таким радикальным способом.

Второй случай, когда можно говорить о проникновении в тексты начала XVII в. устных рассказов, связаны с пугавшей москвичей конструкцией, возведенной Лжедмитрием на Москве-реке. По свидетельству разных современников (авторов «Повести, како отмсти всевидящее око Христос Борису Годунову...», «Сказания о царстве царя Федора Ивановича», «Сказания о Гришке Отрепьеве», Жития царевича Димитрия и др.), труп царя сожгли недалеко от Москвы, в Котлах, где самозванец поставил необычное сооружение, «потеху», напоминавшую преисподнюю. Рассказы об «аде» повторяются в разных сочинениях и отражают представления москвичей, демонизировавших загадочную постройку²¹. Голландский купец Исаак Масса отметил, что «Московиты прозвали ее чудищем ада, и после смерти Димитрия, которого они называли чародеем, говорили, что он на время запер там черта, и там его сожгли»²². Многие русские книжники явно не представляли ни предназначение, ни внешний вид конструкции, описывая ее по слухам и толкам – об этом говорят разнообразные и порой весьма туманные наименования: *ад*, *адовы челюсти*, *адский ларь*, *киотище*, *потеха*, *град*, *умышление*, *утварь некая*²³. Иногда потешный ад интерпретировали как средство, с помощью которого самозванец физически убивал противников: «И повеле он, окаянный еретик в него метать православных христиан на смерть, кои его проклятую ересь обличают»²⁴.

Анализируя многочисленные описания конструкции, можно реконструировать и отдельные черты ее декора, и предназначение, и то, как она была предположительно использована при Лжедмитрии. Так, говоря о форме и росписи «ада», русские авторы упоминают ряд деталей, характерных для западной иконографии (фигура трехглавого монстра и аспидова голова на его языке) – скорее всего, это основано на реальных воспоминаниях, так как в древнерусской традиции (иконографии и книжности), в отличие от европейской, эти мотивы практически не встречаются. Некоторые рассказывают также о специальных механизмах, которые порождали шум и изрыгали пламя. Об этом говорит и Исаак Масса: он называет конструкцию подвижной крепостью, своеобразным гуляй-городом, на котором разместили изображения ада и механизмы, извергающие огонь – крепость участвовала в потешном бою. Военные учения, развернувшиеся вокруг «потехи», ни словом не упомянуты в русских текстах, однако здесь говорится о другом – театральном – действе с участием ряженных-чертей²⁵. Сообщения И. Массы и русских авто-

ров логично дополняют друг друга с учетом того, что и потешные бои, и театральные действия с актерами, изображавшими демонов, центром которых служил механический адский монстр (иногда – адская крепость), характерны для европейской дьяблерии начиная с XV в.²⁶ Вероятно, подобное представление, «игра дьяволов» на европейский манер, было организовано поляками в Москве зимой-весной (на Святки или на Масленицу?) 1606 г. Если потешный бой вряд ли мог удивить русских, то сам механический «ад», установленный на Москве-реке, безусловно должен был породить массу слухов и толков. Правительство Шуйского использовало их, очерняя узурпатора; книжники, демонизировавшие Лжедмитрия, не упускали случай рассказать о малопонятной, но символически окрашенной «потехе» царя-Антихриста.

Таким образом, слухи об убитом самозванце и о его постройке оказались интегрированы в публицистические тексты Смуты и превратились в один из элементов «борьбы мифов», которая продолжилась в стране с появлением новых претендентов на московский трон. Передававшиеся устно рассказы о том, что убитый царь был колдуном, соорудил ад, в котором убивали людей, а его тело не принимала земля, на новом этапе формировали образ демонического правителя.

Исторические песни: колдун и его жена

Если миф о вернувшемся царе, основу которого заложили грамоты первого Лжедмитрия, воспроизводился на протяжении столетий с различными вариациями, но с сохранением общих семантических рамок, то у легенды о царе-самозванце была совсем другая история. От последовательной картины, представленной в посланиях московского правительства и других сочинениях XVII в., в фольклорных текстах сохранились прежде всего номинации, формирующие общее смысловое ядро: *Отрепьев, самозванец, царь, колдун, грешник, еретик*. Слухи о нечистом покойнике и об аде, которые логично дополняли картину в XVII в., не перешли в исторические песни и не сохранились – вместо них здесь возникли другие мотивы, которые позволили выстроить новый образ «нечистого» правителя по имени Гришка.

В исторической песне, вошедшей в сборник Кириши Данилова, отразилось достаточно много исторических деталей и имен (если некоторые из них не были «реконструированы» в процессе записи): «Расстрига» завладел царством, захотел жениться на дочери

литовского пана Юрия Сандомирского, его опознают как Гришку Отрепьева, Марфа-Мария отрекается от ложного сына, обвиняет Годуновых в убийстве настоящего сына, Лжедмитрий бросается из окна²⁷. Что касается официальной легенды XVII в., то к ней восходит лишь имя самозванца и мотив отречения матери – в остальном образ правителя выстроен на основе фольклорных моделей. Ложного царя разоблачают благодаря антиповедению: вместо церкви в день св. Николы (Вешнего) он с Мариной отправился в баню, а затем велел принести и постные, и скоромные кушанья²⁸. Рассказ о походе в баню вместо праздничной, иногда пасхальной, литургии – самый устойчивый элемент в разных вариантах песен: люди идут на службу, а царь с царицей – париться, люди молятся Богу – они мылятся, творят блуд (отчасти это напоминает модели «черных» заговоров: «встану не помолясь, выйду не перекрестясь» и т. п.). В том же ряду стоят и другие мотивы исторических песен – свадьба Лжедмитрия в Филиппов пост, венчание в постный пятничный день; наказ Лжедмитрия Марине не бить челом боярам и не кланяться иконам²⁹. Все это перекликается с историческими реалиями: по рассказам русских и иностранных авторов, сам царь и окружавшие его поляки презирали русские обычаи; на свадьбе Лжедмитрия ели табуированную у москвичей пищу – телятину или голубятину и т. п., однако в песне эти детали лишь отчасти могут сохранять память о реальных прецедентах. В целом они представляют общую «перевернутую» модель поведения персонажа-антагониста, в данном случае – «нечистого» царя-еретика, известную в эпосе (по близкой модели строится и поведение горделивого, уповающего на свою силу героя³⁰; ср. описание другого самозванца из песни «Лжедмитрий второй»: не привязывает и не приказывает никому коня, не кланяется боярам, не бьет челом государыне³¹).

Интересно, что, в соответствии с песней, записанной в XVII в. (датированная запись – 1688 г.), Лжедмитрий не только «скоромную еству сам кушает, а посу еству роздачей дает», но «местные иконы под себя стелет, а чудны кресты под пяты кладет»³². Такие действия, связанные с осквернением святынь, хорошо известны в русской традиции – их приписывали нескольким группам «врагов», каждая из которых хорошо соотносится с самозванцем: иноземцам-захватчикам – язычникам или инославным христианам³³, еретикам (популярная у старообрядцев история гласит, что в обуви патриарха Никона были изображения крестов, т. е. он попирает его ногами; в лицевых сборниках этот рассказ иллюстрировали соответствующие миниатюры: слуга находит кресты в обуви патриарха)³⁴,

а также колдунам – снять, осквернить крест или иконы – способ установить контакт с нечистой силой³⁵.

В некоторых вариантах песен отсутствуют практически все исторические реалии, кроме имени жены самозванца – Марина (память о реальной супруге самозванца и одновременно типичное для былин имя враждебного герою женского персонажа) либо имени его главного противника: в одном из текстов, записанных А.Ф. Гильфердингом, фигурирует «защитник» Лжедмитрия «храбрый воин рыцарь Годунов», смерть которого делает Дмитрия и Марину единственными правителями – глухое эхо политической и идейной борьбы 1604–1605 гг.³⁶ (ср. в песне «Убийство царевича Дмитрия», где Гришка убивает наследника, чтобы занять его место³⁷).

Образ врага в исторических песнях органично включает мотивы, связанные с колдовством, однако они не переходят сюда из сочинений XVII в., а конструируется на новом этапе на основе топики русского эпоса³⁸. В некоторых вариантах у самозванца появляется волшебная книга, по которой он колдует перед хрустальным зеркалом; Лжедмитрий правит три года, а узнав о восстании, собирается сделать себе крылья и «улететь дьяволом»³⁹. Это отдаленно напоминает рассказы книжников Смуты о царе-Антихристе (связь с дьяволом, известный в средневековых текстах срок правления погибельного сына – *время времен и полвремени*, интерпретируемые как 3,5 года⁴⁰), однако сходство это случайное – число три обычно для фольклорного текста и явно не привязано тут к книжным мотивам. В других вариантах колдовские способности выделяют прежде всего Марину, которая обращается в сороку и улетает, в то время как Лжедмитрий падает из окна и погибает⁴¹ – легендой о магическом бегстве Марины Мнишек, по сообщению В.И. Даля, москвичи объясняли отсутствие сорок в столице⁴²; ср. превращение в сороку Маринки из былины «Добрыня и Маринка»⁴³.

Наконец, еще один мотив – царские знаки на теле истинного наследника – проник в исторические песни из легенды о возвратившемся царевиче (естественно, будучи переосмысленным тут как знак ложный, поддельный): Гришка «зарастил» железный крест на своей груди, чтобы выдавать его за врожденный признак государя и обманывать людей⁴⁴.

Таким образом, отдельные элементы, из которых складывается персонаж «Гришка-Расстрига» в исторических песнях, генетически восходит и к мифу о самозванце, и к мифу о возвращающемся царевиче, конкурировавшем в период Смуты. Однако ключевыми оказываются не осколки исторических реалий и не фрагменты легенд и слухов XVII в., а те фольклорные мотивы и топосы, которые

на новых основаниях конструируют здесь образ врага, наделенного сверхъестественными способностями.

Интересен в этом плане еще один рассказ, связанный с колдовскими действиями Лжедмитрия. Автор «Истории о первом патриархе Иове» (составлена после 1652 г.) утверждает, что самозванец, чародей и волхв, сбежал из заточения, «воочию» исчезнув на глазах охранников⁴⁵. Это описание напоминает известный мотив о магическом бегстве героя из тюрьмы: часто он привязан к мифологизированным историческим персонажам, таким как легендарный разбойник Стенька Разин, наделяемый в преданиях магическими способностями – Разин рисует лодку мелом или углем на полу темницы и переносится на Волгу или уносится «в дуга»; просит у людей воды, плещет ею из ложки или из ковша и уплывает из клетки прочь («Он во клетке окатился – / И на Волге очутился») и т. п.⁴⁶ Не исключено, что мотив проник в «Историю» из устной традиции, актуальных преданий, в которых так же, как в исторических песнях, действовал мифологизированный правитель-колдун.

Все три группы текстов о ложном наследнике – официальная легенда XVII в., слухи и толки, отразившиеся в сочинениях того же времени, и более поздние по времени фиксации исторические песни – объединяет центральная фигура самозванца-колдуна, еретика, так или иначе связанного с дьяволом. Однако на этом сходство заканчивается: персонажи с именем «самозванец Гришка Отрепьев» имеют мало общего, несмотря на близость целого ряда мотивов. Официальная легенда, созданная при Годунове и Шуйском, в устной традиции распадается на ряд отдельных, мало связанных элементов, из которых возникают новые «Расстриги», близкие Разину и Пугачеву устных преданий или иноземным «нечистым» царям русского эпоса.

Примечания

¹ Подробнее см.: Антонов Д.И. Смута в культуре средневековой Руси: эволюция древнерусских мифологем в книжности начала XVII в. М., 2009. С. 68–100.

² Чистов К.В. Русская народная утопия: генезис и функции социально-утопических легенд. СПб., 2011. С. 45–80.

³ Сборник Императорского Русского исторического общества. Т. 137. СПб., 1912. С. 177.

⁴ Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археологической экспедицией Академии наук. Т. 2. СПб., 1836. С. 76, 90–93.

- ⁵ Подробнее о крестном целовании на Руси см.: *Стефанович П.С.* Крестоцелование и отношение к нему церкви в Древней Руси // Средневековая Русь. Вып. 5. М., 2004. С. 86–113; *Антонов Д.И.* Клятва на кресте как феномен русской средневековой книжности // Источниковедение культуры: Альманах. Вып. 1. М., 2007. С. 93–153; *Он же.* Клятва и крест: Проблема судебной присяги в древнерусской правовой культуре XVI–XVII вв. // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2009. № 1. С. 42–53.
- ⁶ Акты... С. 78–81; подробнее об этом: *Ульяновский В.И.* Смутное время. М., 2006. С. 19–23.
- ⁷ По правилам Халкидонского собора, к которому апеллировали русские авторы, расстригу нельзя впускать в церковь, с ним нельзя есть и пить. См., например: Послания Иосифа Волоцкого / Подгот. текста А.А. Зимина, Я.С. Лурье. М.; Л., 1959. С. 45.
- ⁸ Временник Ивана Тимофеева / Подгот. к печати, пер. и коммент. О.А. Державиной. М.; Л., 1951. С. 98–100.
- ⁹ Акты... Т. 2. С. 78–82.
- ¹⁰ *Ульяновский В.И.* Указ. соч. С. 19–21, 31–32.
- ¹¹ Там же. С. 36–38.
- ¹² *Соловьев С.М.* Сочинения: В 18 кн. Кн. 4: История России с древнейших времен. Т. 7–8. М., 1989. С. 402.
- ¹³ Подробнее см.: *Ульяновский В.И.* Указ. соч. С. 37–40.
- ¹⁴ *Карташев А.В.* История русской церкви. М., 2004. С. 532.
- ¹⁵ Подробнее об этом: *Антонов Д.И.* Смута... С. 75–92.
- ¹⁶ «Повесть, како восхити неправдою на Москве царский престол Борис Годунов» (создана после убийства Лжедмитрия): Русская историческая библиотека, издаваемая Археографической комиссией. Т. 13. СПб., 1909. С. 168. Ср. в другой редакции памятника, «Повести како отомсти всевидящее Око Христос Борису Годунову»: *Буганов В.И., Корецкий В.И., Станиславский А.Л.* «Повесть како отомсти» – памятник ранней публицистики Смутного времени // Труды отдела древнерусской литературы Института русской литературы (Пушкинский Дом) Академии наук СССР / Российской Академии Наук. Т. 28. Л., 1974. С. 250; в «Сказании о царстве царя Федора Иоанновича» (Русская историческая библиотека... С. 831, 834; здесь же – похожее описание, связанное с телами убийц царевича Дмитрия (с. 771–772)).
- ¹⁷ Сочинения преподобного Максима Грека, изданные при Казанской духовной академии. 2-е изд. Ч. 3. Казань, 1897. С. 139.
- ¹⁸ Подробнее о древнерусских обрядах и практиках, связанных с погибшими «напрасной» смертью, см.: *Алексеев А.И.* Под знаком конца времен: очерки русской религиозности конца XIV – начала XVI в. СПб., 2002. С. 96–99.
- ¹⁹ См., например, «Поучение блаженного архиепископа Евсевия», включенное в Измарагд: Библиотека литературы Древней Руси: В 20 т. Т. 10. СПб., 2004. С. 110.

- ²⁰ См., например: О начале войн и смут в Московии. Исаак Масса, Петр Петрей. М., 1997. С. 124, 315.
- ²¹ Обзор и анализ описаний см.: *Антонов Д.И.* Потешный ад Лжедмитрия, или Монстр на Москве-реке // *In Umbra: Демонология как семиотическая система: Альманах. Вып. 2 / Отв. ред. и сост. Д.И. Антонов, О.Б. Христофорова. М., 2013. С. 45–56.*
- ²² О начале войн... С. 100.
- ²³ Подробнее об этом см.: *Антонов Д.И.* Потешный ад... С. 47.
- ²⁴ Русская историческая библиотека... С. 819 («Сказание о царстве царя Федора Ивановича»).
- ²⁵ Сказание о Самозванце по списку Московского публичного музея № 3141. Сообщение С.Ф. Платонова // *Памятники древней письменности, издаваемые Обществом любителей древней письменности. Т. 109. СПб., 1895. С. 14.* (Текст создан, вероятно, вскоре после гибели Лжедмитрия.)
- ²⁶ *Антонов Д.И.* Потешный ад... С. 52–54.
- ²⁷ Сборник Кириши Данилова: Издание Императорской публичной библиотеки по рукописи, пожертвованной в библиотеку князем М.Р. Долгоруковым. СПб., 1901. С. 43–44.
- ²⁸ Там же.
- ²⁹ Онежские былины, записанные А.Ф. Гильфердингом летом 1871 г. СПб., 1873. № 143, 236; Песни, собранные П.Н. Рыбниковым: В 3 т. 2-е изд.: Т. 1. М., 1909. № 67, 91; Исторические песни. Баллады / Сост., подгот. текстов, вступ. ст. и примеч. С.Н. Азбелева. М., 1986. С. 168.
- ³⁰ См., например: «Как заходит тут Идóйло в гридни светल्या, / Бо́гу русскому Идóйло вот не кланяется / И челом-то не бьет да он Владимиру» (Былины: В 25 т. / РАН. Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом). СПб.; М., 2001—... (Свод русского фольклора). Т. 1: Былины Печоры: Север Европейской России. 2001. С. 218, № 22); «Мне дорогой ехать – мне не честь-хвала, / Мне не выслуга будет богатырская» / Он и ехал стороной – не дорогою, / Он в ограду заезжал не воробатами, / Он скакал через стену городовую, / Через высоту ту башню наугольную. / Скакал тогда он со добра коня, / Он оставил коня неприказана» (Былины... С. 484, № 101). Благодарю Н.В. Петрова за указание на эти примеры.
- ³¹ Исторические песни... С. 170.
- ³² *Шамбинаго С.К.* Исторические песни о «Смутном времени» // *История русской литературы: В 10 т. / АН СССР. М.; Л., 1941–1956. Т. 2. Ч. 2: Литература 1590–1690-х гг. 1948. С. 84.*
- ³³ См. в сочинениях Смутного времени: *Антонов Д.И.* Смута... С. 114.
- ³⁴ См., например, миниатюры «у Никона в башмаках крест Христов» и «у Никона на стельках крест Христов» в старообрядческом сборнике [БАН. 45.5.9: 46, 47]. О сборнике см.: *Бубнов Н.Ю.* Старообрядческое «антижитие» патриарха Никона // *Святые и святыни северорусских земель. Каргополь, 2002. С. 221–230.*

- 35 См., например: Славянские древности: Этнолингвистический словарь / Под ред. Н.И. Толстого: В 5 т. М., 1995–2012. Т. 2. М., 1999. С. 656.
- 36 Онежские былины... № 111.
- 37 Исторические песни... С. 165.
- 38 В былинах имя Расстриги Гришки может использоваться как общая номинация врага: так, в былине «Иван Годинович» возникает «Гришка-Расстрижка нечистый дух» (ср. положительного персонажа «Скопин», который появляется на богатырской заставе, дружкой на свадьбе Дуная и т. п.). *Балашов Д.Н., Новичкова Н.А.* Русский былинный эпос // Былины... С. 61.
- 39 Онежские былины... № 14.
- 40 *Антонов Д.И.* Смута... С. 93–94.
- 41 Сборник Кирши Данилова... С. 44; Онежские былины... № 236.
- 42 *Даль В.И.* О поверьях, суевериях и предрассудках русского народа. СПб.; М., 1880. С. 126.
- 43 Онежские былины... № 163, 288, 316 и др.
- 44 Там же. № 143; Песни... № 67, 91.
- 45 Русская историческая библиотека... С. 933.
- 46 *Неклюдов С.Ю.* Фольклорный Разин: аспект демонологический // In Umbra: Демонология как семиотическая система: Альманах. Вып. 3 / Отв. ред. и сост. Д.И. Антонов, О.Б. Христофорова. М., 2014. С. 259–260.

И.В. Курукин

«Воня безбожия»:
История одной любви, или
Провинциальный секретарь Максим Пархомов
против Святейшего Синода

Статья посвящена затянувшемуся делу о разводе провинциального секретаря Максима Пархомова и ссылке последнего в монастырь в 1723–1743 гг. На основании опубликованных и архивных документов анализируется история конфликта рядовой семьи с церковными властями, что позволяет выявить некоторые тенденции повседневности людей послепетровской России и механизма их взаимодействия с властью.

Ключевые слова: Синод, «прелюбодеяние», отлучение, Соловецкий монастырь, ссылка.

16 декабря 1726 г. Святейший Синод на очередном заседании рассматривал дело скромного чиновника XIII класса – провинциального секретаря из города Севска Максима Иванова сына Пархомова. Из казенных бумаг понятно, что чиновник был уже не очень молод и имел троих детей. Можно предположить, что происходил он из мелких служилых людей южной границы: владел «деревнишками», был грамотен, занял пост секретаря, стал «другом дома» местного начальника – бывшего капитана лейб-гвардии Преображенского полка¹, а затем воеводы Севской провинции Григория Алексеевича Колтовского (тот даже стал крестным отцом его сыну), а после его кончины женился на его вдове. Этот брак и стал причиной многолетнего судебного разбирательства. Нам уже приходилось писать об этой истории²; но в последнее время удалось найти новые документы, позволившие завершить рассказ о судьбе провинциального чиновника в эпоху перемен.

В жалобе родственников покойного воеводы, полковника Ивана и капитана Петра Васильевичей Колтовских, поведение

и моральный облик провинциального секретаря представлялись в самом неприглядном виде. Согласно показаниям его бывшей жены Ирины, в 1722 г. Пархомов «бил и мучил ее смертно и, взяв большую в ночи, привез в Рылеск в девич монастырь и, обрезав косы, велел постричь в иноческ чин насильно, ночью порою». Сделал же все это супостатство он для того, чтобы жениться на воеводской вдове Дарье Колтовской. «...И потому знатно, что он и прежде с ней прелюбодействовал», – делала вывод его первая супруга, неволею ставшая монахиней, и просила ее из монастыря освободить. Колтовские же уверяли, что Пархомов успел «прижить» с Дарьей дочь еще при жизни ее мужа-воеводы.

Согласно «экстракту» дела, Пархомов в ответ обвинил первую супругу в прелюбодеянии и даже рождении «без него» ребенка, а сама она в новом прошении духовным властям от обвинений отказалась и согласилась жить в монашестве. Но Синод посчитал последнее решение результатом «происка» секретаря, обещавшего Ирине «награждение» и достойное «пропитание». Судьи даже постановили считать пострижение законным, но второй брак Максима Пархомова и Дарьи Колтовской признали «весьма неправильным» и подлежащим расторжению по причине их добрачного «прелюбодейства». Пархомову предстояло жить совместно с восстановленной «в свецком звании» Ириной, если она того захочет, но ни на ком «до кончины своей» не жениться. А по поводу вторично лишившейся мужа – теперь уже по воле судей – Дарьи Колтовской было принято решение: «...отныне значитца прелюбодейцею»; с нее надлежало взять поручные записи о будущем примерном поведении. Разведенных, до этого находившихся под стражей при Синоде, отправили в Юстиц-коллегию, откуда должны были опять возвратиться в Синод для церковного покаяния³.

Однако Пархомов проявил характер и умело отстаивал свое право на семейную жизнь со второй женой. Сидя под караулом, он писал государыне Екатерине Алексеевне, что дело вовсе не в «прелюбодействе», а в желании челобитчиков Колтовских отобрать у его жены и дочери имение, смежное с владениями Меншикова и приглянувшееся самому светлейшему князю, и что бывшая его супруга выходить из монастыря не желает.

На царское имя приходили десятки и сотни челобитных, и неграмотная Екатерина не могла все их читать (или хотя бы слушать). Однако уже 3 января 1727 г. императрица затребовала из Синода дело Пархомова, а его самого указала «до разрешения того дела свободить на подписку с поруками». Остается только гадать, какими путями челобитная попала в Кабинет государыни и кто обратил

ее внимание на прошение несчастного секретаря. Казалось, история подошла к счастливому концу: высочайшим повелением «его с женою разлучать и падчерицы от законного наследства отрешать не велено, о чем в Верховный тайный совет и указ послать велено».

Однако как следует из поданного уже в ноябре того же года нового прошения Пархомова, упомянутый указ, «не допустя до подписания ея величеству, оный князь Меншиков Кабинета у секретаря Черкасова остановил и во время ея императорского величества болезни пред кончиною, мая 3-го дня, уничтожа означенный ея величества приказ, то подлинное дело из Кабинета, мимо тайного Верховного совета, отослал паки в Синод без резона».

Сам секретарь XIII класса объяснял закулисную сторону его «дела» следующим образом. По его словам, на беду наследниц имений умершего воеводы Дарьи Колтовской и ее дочери с их владением соседствовала вотчина Меншикова – волость Славльгородок, и светлейший князь через свои «креатуры» стремился уговорить владелицу «уступить» ему беглых крестьян, охотно селившихся во владениях могущественного вельможи. Уговоры не помогли, и Меншиков стал действовать иначе – устраивать непокорным «нагловымышленные смертные обиды». Еще в 1723 г. находившийся «в кредите» у Меншикова генерал-майор Ю. Фаминцын вызвал бывшую супругу Пархомова, монахиню Назарету, в Москву и «в квартире своей» уговорил ее жаловаться на насильственное пострижение. Со своей стороны, братья Колтовские (наиболее активно действовал Иван – полковник, а затем и генерал-майор, который «всегда жил при означенном князе Меншикове») подали прошение о признании второго брака бывшей невестки недействительным, а ее дочери незаконнорожденной, поскольку она появилась на свет в результате «прелюбодеяния» матери и потому «к отцовскому имению не наследница». В итоге в январе 1726 г. Максим и Дарья оказались в Москве под следствием и «жестоким караулом». Меншиков же лично явился к влиятельному ростовскому архиепископу Георгию (Дашкову) «и приказывал, чтоб его (Пархомова. – И. К.) с женою развесть, на что имеет свидетельство». После этого и состоялось решение Синода о разводе, на которое секретарь жаловался государыне.

Но всесильный светлейший князь сумел не только «остановить» милостивый указ императрицы: «...по кончине ея императорского величества, мая с 9-го числа, чрез приказ же его, князя Меншикова, и происк Колтовского, он, Пархомов, и жена его взяты в Синод и, оковав, держал в цепи его под жестоким караулом безвинно». Синод, естественно, подтвердил свой приговор – и Пархомов, видимо,

дрогнул: «И не стерпя он такого жестокого истязания, опасаясь от того Меншикова смерти, под оным делом подписался, по воле их, что ему с оною его женою впредь не жить, и в Синоде, учиня из того дела неправую выписку, при которой, якобы для следования, отосланы он и жена его в Юстиц-коллегию, где содержится он с женою и с детьми 5-й месяц и помирает смертно».

В дальнейшем эта подписка служила доказательством его вины и отягчающим ее обстоятельством. Но к тому времени Меншиков уже потерял все свои посты и находился в ссылке в Березове; потеряли влияние и его «креатуры», в том числе Фаминцын и Колтовский. Объявляя жалобу Пархомова Сенату, обер-прокурор отметил, что «по оному прошению государственный вице-канцлер, действительный тайный советник и обер-гофмейстер и кавалер господин Остерман, указом вашего императорского величества (Петра II. – *И. К.*), приказал рассмотреть в Сенате и учинить, как указы повелевают». А.И. Остерман как раз и был ключевой фигурой в процессе «падения» Меншикова и едва ли одобрял безудержные выходки светлейшего князя. Однако его ждали куда более важные дела, и решение судьбы «прелюбодейц» было поручено Сенату, а тот не мог своей властью изъять хранившееся в Синоде дело и прислал соответствующего указа⁴.

По-видимому, его так и не последовало. Двор и новый император Петр II в начале 1728 г. в связи с коронацией перебрались в старую столицу. В мае члены Синода вновь имели «рассуждение» о «прелюбодейцах», в процессе которого обнаружили, что Пархомов «ходит на свободе и живет паки с оною Дарьею единокупно и письменно объявляет ее женою» и оба «понеыне из Юстиц-коллегии не присланы» в Синод – а все потому, что эти недостойные «светские персоны» оспаривают синодские решения, составляют «закону противные доношения» и при чьей-то «сильных помощи» подают их верховной власти⁵. 17 июля последовало синодское доношение на высочайшее имя с просьбой воспретить «скверное прелюбодейство» и «оборонить» авторитет руководства Церкви⁶.

В июне 1728 г. Верховный тайный совет затребовал из Синода дело супругов, и архиереи передали его вместе со своим доношением⁷. Оно было «слушано» 22 июля; присутствовавшие Г.И. Головкин, Ф.М. Апраксин и В.Л. Долгоруков решили рассмотреть выписку из дела, «а в Сенат не отсылать»⁸. На этом дело и закончилось – в журналах Верховного тайного совета оно больше не фигурировало, и содержание решения нам неизвестно.

Синод напрасно ждал почти год. 5 мая 1729 г. его члены вновь рассуждали о «беззаконном и прелюбодейном сожитии»

многострадальной четы, которая к тому времени обзавелась детьми – сыном Богданом (отец сумел записать его унтер-офицером в полковую службу) и дочерью Елизаветой – и так и не явилась для покаяния: «знатно, по страсти презирающих законные повеления». Последовало синодское решение:

А ныне известно, что он, Пархомов, и на свободе ходит, и живет паки со оной прелободейцею Колтовскою единокупно и называет ее себе женою. Вящше же, как ныне совершенно объявилось, что и детище с нею после вышепомянутого развода прижил и, не стыдяся того своего богопротивного дела, но наипаче тем гордяся и правильное Святейшего Синода по законам Божиим о запрещении их в том богопротивном прелюбодействе определение уничтожая, явно торжествовал тому прелюбодейчищу своему родины и крестины, и тако безбожия воню от себя издает, за что грядет гнев Божий на сыны противления, – того ради приказали: властию всесвятого и животворящего духа, оных противников, Максима Пархомова и прелюбодейцу его Колтовскую, дондеже пребывают во упрямстве своем и не возвратятся с покаянием, отлучить от Церкви, и ни до каких таинств и священнослужений церковных их не допускать, и входа церковного им нигде не давать, и в дома их ни с какими церковными требами не входить. И для того из Святейшего Синода в духовную дикастерию и во все епархии, а из них и во все места, разослать указы и в церквах опубликовать листы...⁹

Духовные власти использовали самое страшное из возможных церковных наказаний – отлучение. Но и такая кара не заставила грешников раскаяться и – что еще удивительнее – похоже, не встретила понимания со стороны близких и соседей «преступников». В сентябре того же года Синод вынужден был признать, что Пархомов и его жена «и поныне в тех же богопротивных мерзостях валяются, Бога не бояся и человек не срамяся, никакого покаяния не приносят и сопричтения с правоверными не требуют, и хотят знатно во упрямстве и отчаянии, ради мерзкого своего плотоугодия, вечно погибнути».

Поскольку резолюцией Петра I от 12 апреля 1722 г. дела о нарушении супружеской верности, внебрачных детях и тех, кто «не будут в духовных делах повиноваться епископам», были отнесены к компетенции светского суда, синодским членам ничего не осталось, как воззвать к Юстиц-коллегии «сыскать» и наказать «явногрешников», которые за свои «беззакония» были «отлучены суть от Церкви и всякия святыни лишены, яко язычницы и мытари,

и анафеме преданы» (интересно, что в синодском постановлении от 5 мая об анафеме не упоминалось). От себя же они добавили угрозу распространить отлучение на всех, «кто будет вспомогать и их защищать и прикрывать и в домах своих держать». Постановление надлежало объявить по всем московским храмам. Заканчивалось оно повелением: «Буде же где оные прелюбодейцы, жестокосердые и гнева Божия не боящиеся Пархомов и Дарья явятся, и их поймав, привестъ в Святейший Синод¹⁰»; правда, оставалось непонятным, кто должен был ловить «прелюбодейц» и действительно ли они скрывались или, напротив, жили открыто.

По-видимому, синодальные архиереи убедились в своем бессилии. Но в феврале 1730 г. правление «верховников» завершилось. Неудачная попытка ограничить власть новой императрицы Анны Иоанновны «кондициями» и установить намечавшуюся в различных шляхетских проектах новую систему государственного устройства обернулась восстановлением самодержавия и ликвидацией Верховного тайного совета. Возможно, именно в связи с этими обстоятельствами церковные власти попытались в очередной раз добраться до не покорившихся «прелюбодейц».

На этот раз, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло» – при дворе стало известно о тяжелой болезни дочери многострадальной четы. Как явствует из показаний, данных Пархомовым в московской синодальной конторе в 1736 г., в сентябре 1730 г. супруги в Измайловском дворце бросились в ноги императрице Анне, торжествующей после восстановления самодержавной власти¹¹. 21 и 22 сентября генерал-аншеф и генерал-адъютант Андрей Иванович Ушаков передал Синоду два «ведения»: первое уведомляло, что государыня повелела секретаря Пархомова и его жену, «покамест дело их окончитца, в Святейший Синод без указу ея императорского величества под караул не брать»; во втором Анна Иоанновна распорядилась допустить в дом супругов священников, поскольку их дочь «больна лежит антоновым огнем при смерти» и ее надо «причастить святых таин немедленно, дабы без покаяния не умерла»¹². Грозная императрица оказалась более гуманной, чем духовные пастыри.

Мы не знаем, потеряли ли Максим Пархомов и Дарья Колтовская ребенка, чем они занимались впоследствии; похоже, что глава семейства больше не служил, ибо в 1738 г. в Герольдмейстерской конторе числился «обретающимся не у дел» и считался тем, кого «к делам определять не велено»¹³. Однако вмешательство государыни облегчило жизнь «беззаконной» пары – на несколько лет о них забыли. Архиереям стало не до «прелюбодейц»: в царствование Анны

высшее духовенство испытало немало тревог в связи с осуждением нескольких высших церковных чинов за недостаточно быстрое приведение подданных к присяге. Но в 1738 г. за них взялись опять: Синод доложил в Кабинет министров о продолжавшемся «непокорении» отлученных от Церкви и просил передать их дело в Юстиц-коллегию для надлежащего наказания.

В опубликованных бумагах Кабинета дважды указано, что дело было решено, но не разъяснено, каким образом¹⁴. Несомненно, что и на этот раз Пархомов под караул не попал. Еще в 1736 г. он заявлял в синодальной канцелярии в Москве, что в 1730 г. получил «милостивой именной указ», предписывавший его «от клятвы разрешить и с женою не разводить и жить им в доме своем». Похоже, что секретарь слукавил в расчете на силу *устного* императорского распоряжения. Но это обстоятельство обернулось против него. В бюрократической машине бумага приобретала великую силу. «Ведения» А.И. Ушакова могли к тому времени затеряться, а *письменного именного указа* в Синоде не нашлось, и его чиновники обратились к тому же Ушакову за разъяснениями. Неизвестно, чем на этот раз руководствовался начальник Тайной канцелярии – то ли по забывчивости, то ли по неведомым нам «конъектурам» он заявил, что такого указа «никогда от него объявлено не было, и ежели б де такой от ея императорского величества воспоследовал, о оном бы де в то же время имело сообщено быть Святейшему Синоду письменно»¹⁵.

В том же 1736 г. Синод рассматривал дело священника московской церкви Успения в Кожевниках Ивана Филиппова, обвинявшегося в том, что вопреки запрещению Синода исповедовал и причащал «беззаконно живущую» Дарью Колтовскую во время ее болезни. Призванный к ответу батюшка оправдывался: об отлучении он знал, но нарушил запрет на основании письма архимандрита Троице-Сергиева монастыря Варлаама, в свою очередь сообщавшего ему о разрешении причастить больную, полученном от самого архиепископа Феофана Прокоповича. Если батюшка говорил правду, то к скандальному делу были каким-то образом подключены духовник Анны Иоанновны¹⁶ и вице-президент Синода, которому императрица во многом была обязана восстановлением «самодержавства». Но в 1738 г. Прокопович был уже мертв, а шеф Тайной канцелярии предпочел умыть руки. Первой жертвой Синода стал Иван Филиппов – названное письмо «приискать он не мог» и в результате был арестован, лишен сана и сослан в Переславль-Залесский, в Николаевский, «что на болоте», монастырь пребывать «в трудах монастырских неисходно»¹⁷.

Следствие по делу Пархомова и Колтовской возобновилось, но шло ни шатко ни валко – подоспел очередной политический кризис: после смерти Анны Иоанновны в октябре 1740 г. императором стал сын ее племянницы, грудной младенец Иоанн III Антонович, а регентом при нем – фаворит покойной императрицы Э.И. Бирон. А через три недели произошел очередной дворцовый переворот: арестованный и осужденный «бывший Бирон» отправился в Сибирь, а его место заняла мать императора – правительница Анна Леопольдовна. Начало своего правления она отметила приказом подать ей списки осужденных в предшествующее царствование, многие из которых получили всемилостивейшее прощение.

Пархомов попытался использовать момент и подал новое прошение, «чтоб его в Юстиц-коллегию не спрашивать и от наказания свободить, и с женою его Дарьєю от наложенной клятвы разрешить». И вновь его обращение, уже в который раз, дошло до самого «верха» – надо полагать, челобитчик имел хорошие связи при дворе. Но на этот раз они не помогли. Анна Леопольдовна была милостивой, но вникать в суть канонической проблемы не стала и отправила бумагу в Синод – ту самую инстанцию, которая отлучила пару от Церкви¹⁸.

А Пархомов, по-видимому, потерял осторожность – или был уверен в благоприятном исходе дела. В мае 1741 г. он явился в Синод, где и был арестован и надолго стал колодником¹⁹. Тогда он и подал (в мае, а затем в декабре) две челобитные, где просил прощения и обещал, что жить со своей супругой более не будет²⁰. 4 января 1742 г. в третьем по счету «доношении» бывший секретарь объявил о своем «чистом покаянии»: он обязался Дарьєю «женой не называть», а взамен просил «разрешить» его от наказания, но с супругой не разводить, «понеже они с нею, Дарьєю, имеют детей». О том же молила и вызванная из глуховского имения Колтовская. Синод оценил чистосердечие секретаря: «...к истинному покаянию является непреклонен и с нею, Дарьєю, хочет в плотоугодии пребыть и явно прелюбодействовать безстыдно». Представшему перед собранием архиереев Пархомову милостиво обещали прощение, но «прелюбодейцы» должны были разлучиться и «потрудиться» для спасения своих душ в монастырях. Оба заявили, что «в монастыре жить не желают»²¹.

Но теперь Синод показал, что виновные находятся в его власти. Пока дело рассматривалось, власть вновь сменилась – престол после очередного ночного захвата дворца заняла Елизавета Петровна. Особенностью нового переворота стало его «идеологическое» обеспечение: свержение законного императора с престола

мотивировалось борьбой с занимавшими высшие государственные посты «немцами», которые истребляли людей верных и отечеству «весьма нужных», обирали казну, несправедливо нажитые деньги «из России за море высылали и тамо в банки, иные на проценты многие миллионы полагали», подрывали истинное благочестие и не допускали к власти истинную наследницу трона. В пропагандистских сочинениях ночное свержение императора не слишком трезвой ротой гренадеров выглядело священной миссией, которую взяла на себя гвардейская «блаженная и Богом избранная и союзом любви связуемая компания, светом разума просвещенная»²². В рамках борьбы с «иноземным засильем» приверженность православию обернулась ограничением веротерпимости. Указы 1741–1742 гг. запрещали строить лютеранские кирки и совершать армяно-григорианские богослужения. Дважды – в 1742 и 1744 гг. – объявлялось о высылке из империи всех евреев, возобновлялось взимание денег с «бородачей» и ношение раскольниками шутовских кафтанов с красным воротником-козырем. Новый правительственный курс роковым образом повлиял на исход дела наших героев.

20 января 1742 г. их судьба была решена. Синод постановил «разрешить» преступников от анафемы, но допустить их к исповеди и причастию только при полном «покорении». Пархомову по объявленной в декабре 1741 г. амнистии прощались «ложь» про якобы имевший место «имянной указ» Анны Иоанновны и неявка к светскому суду. Однако «прощение» сопровождалось приговором, навсегда разлучавшим супругов:

...бессовестно и каменносердечно, аки свинии в блате, чрез многие годы валялись в прелюбодействе и сами от своего произволения с покаянием к святей Церкви не возвратились; и уже в аресте будучи, особливо оный Пархомов, разными Святейшему Синоду доношениями повинуюсь святей Церкви и суду духовному и обещааясь к тому с Колтовскою не жить, употреблял прошение о неразде их. И тако, ежели по принятии их к святей Церкви допустить их свободно жить, отнюдь не надежно, чтоб они всесовершенно разлучились, но есть крайняя опасность, дабы паки по своему бесстрашию и каменносердечию не впали в прежнее скверное беззаконие... для того во отвращение от такового их душепагубного сквернодействия и к наставлению их к покаянию и на путь спасения, разослать их каждого в монастыри под караулом скованных, придав к каждому по дву человек солдат.

Пархомова отправили в Соловки, Дарью – в суздальскую Покровскую обитель пребывать в «трудах монастырских» без права

переписки; их дети-«прелюбодейчища» были объявлены незаконнорожденными²³. «Изъявление» грехопадения Пархомова и Колтовской публично читалось в Петропавловском соборе столицы в воскресенье, подобно манифесту о выигранной империей войне.

Скованный и подконвойный Максим Пархомов 26 февраля 1742 г. был лично «принят» соловецким архимандритом Геннадием в монастырском Сумском остроге на берегу Белого моря с имуществом: 155 рублями и дорогой одеждой: шубой, «пуховиком», кафтаном, камзолами, меховой шапкой, галстуками, скатертями, салфетками, посудой – безработный секретарь явно не бедствовал. Пархомов был отправлен не в заточение, а «под начал» (под надзор) монастырских властей. Поначалу он вел себя «со всяким покорением»: «в церковь Божию ходил, у отца духовного исповедовался и святых таин приобщался», – но не выдержал долго суровых условий северного монастыря и стал проситься на волю. Замолвил за него слово и архимандрит. Но Синод, как писал сам Пархомов сыну Богдану, повелел доложить о ссыльном через год²⁴.

В феврале 1743 г. бывший секретарь вновь подал прошение в Синод и «со слезами» умолял освободить его по объявленному императрицей указу об амнистии, «по которому многие с каторг и иссылок свобожены». Узник напоминал, что четверо его сыновей несут военную службу, а за именем смотреть некому – московский двор и «деревнишки» разорены²⁵.

Не дождавшись ответа из Петербурга, Пархомов стал умолять архимандрита послать о нем «доношение» в Синод. Геннадий доложил, что Пархомов желает вырваться из монастыря хоть «в каторжную работу»; сам «прегорчайший неволник» жаловался в письме к сыну (письма подлежали досмотру и сохранились в деле): «Лутче бы быть ему на каторге, нежели в здешнем краисветном на мори Соловецком острове; не токмо де здешними морскими жестокими ядовитыми воздухами человеческое здоровье, но и железа съедает». В том же письме ссыльный умолял Богдана взять отпуск и ехать в столицу – просить Синод об освобождении отца. Наставлял он и дочь Елизавету («Сафетушку»):

Отпиши ка мне, где ты и при ком живешь и братьев Багдана и других в Москве или где в других местах ково видала ль, и писма мои получила ль, и о свободе меня просили ль и ково, и что на то твое прошение; да какую милость получили и от ково имянно, и какой ответ. И о деревнях моих и что в них чинитца, ежели о чем сведала, обо всем отпиши. И проси милости Сергея Ивановича и Михайлы Семеновича и других милостивцов, где тебе Бог способность подаст о наставлении

и о предстательстве, о свободе меня ис такой прегоркой неволи и ис ссылки...²⁶

Копию ответного послания (от 26 июля 1743 г.) адресату вручили в октябре. Дочь старалась утешить родителя, но помочь ничем не могла. Последним в архивном деле стал черновик прощения архимандрита Геннадия, который в мае того же года просил «указом ее императорского величества [Пархомова] от нас взять, ибо ис писем ево, Пархомова, явно показуется, что состояния доброго и смирения нет, дабы впредь от него, Пархомова, святые обители, а неповинным убытка и напрасного страдания не учинилось». Но вместо милостивого ответа настоятель получил выговор и запрещение писать в Синод минуя архиерея²⁷.

На этом дело о пребывании «прелюбодейцы» в Соловках обрывается. В том же году, когда духовные власти по распоряжению обер-прокурора Синода князя Я.П. Шаховского подавали сведения об освобожденных по амнистии по случаю коронации Елизаветы и оставшихся в местах заключения «штрафных и ссыльных», он упоминался в числе узников монастыря²⁸. Далее его имя исчезает из документов Синода; остается гадать, получил ли Максим Пархомов свободу или окончил жизнь в монастырских стенах вдали от детей и дорогой жены Дарьи. Составленный в 1759 г. «реестр... о колодниках, содержащихся в Соловецком монастыре, присланным по указам в разные годы» (начиная с 1739 г.) о нем не упоминает²⁹.

Максим Иванович Пархомов вряд ли намеревался войти в историю; однако у него это получилось, правда, доставив ему лишь горе. И все же его судьба примечательна для понимания роли Петровских реформ и их последствий. Безвестный мелкий чиновник предпоследнего класса по Табели о рангах не просто сумел связать свою жизнь с более знатной дворянкой. Он упорно, грамотно и даже временами успешно боролся за свое семейное благополучие с приближенными второго лица в государстве (Меншикова) и самим Святейшим Синодом, пережил «полудержавного властелина» и едва не вынудил синодских чиновников признать поражение. Вряд ли Пархомов был отважным вольнодумцем (он и в ссылку прибыл с «образом пресвятыя Богородицы знамение»), но, кажется, не испытывал особого раскаяния за свое «душепагубное сквернодействие». Секретарь скорее пытался заключить «сделку со следствием», и только суровые условия монастырской ссылки заставили его просить о милости – но опять же без какого-либо искреннего или притворного покаяния. И, похоже, церковное начальство было раздражено не только открытым неподчинением его предписаниям, но

и той поддержкой, которую получала непокорная пара со стороны окружающих, несмотря на церковное отлучение «прелюбодейц». Пожалуй, уже можно говорить о пошатнувшемся авторитете «государственной» Церкви и ее пастырей, не стеснявшихся низкопоклонствовать перед сильными мира сего.

Пархомов проиграл схватку – но времена изменились, и это уже не отразилось на его детях; все они вышли в офицеры, а старший и самый удачливый, Лев, к 1754 г. дослужился до премьер-майора³⁰. Сам же Максим Иванович наглядно показал возможности бюрократии, становившейся серьезной силой; через столетие император Николай I будет жаловаться, что его империей на деле управляют столоначальники.

Провинциальный секретарь мог быть не только исполнительным подчиненным севского воеводы, но и, в силу опыта и умения к месту применять нужные указы, ключевой фигурой в принятии решений. Даже оказавшись в столице под следствием (вопрос о невиновности оставим на его совести), ушлый приказный сумел квалифицированно изложить и опровергнуть претензии высокопоставленных оппонентов, демонстрируя осведомленность об их действиях и побудительных мотивах. Он последовательно отстаивал свою правоту в «вышних» инстанциях; на его прошения обратили внимание две императрицы, регентша, «рейхсмаршал» А.Д. Меншиков, вице-канцлер А.И. Остерман и начальник политического сыска А.И. Ушаков.

При этом имеющиеся в нашем распоряжении документы не дают оснований говорить об оказании Пархомову «сильная помощи» каким-либо вельможным покровителем. Из его писем из монастыря можно понять, что одним из его «милостивцев» был канцелярист Синода Степан Васильевич Шеславцев; другим – капитан Михаил Семенович Ладыгин, третьим – какой-то секретарь Сергей Иванович Попов. Получается, что именно такие малозначительные канцелярские персонажи имели и использовали возможности продвинуть нужное дело до самых «верхов». Сконцентрировав в пространстве двorca формально ничем не ограниченную власть и огромный поток информации, петровская монархия имела и уязвимое место – возможность заинтересованных «партий» и лиц оказывать влияние на принятие того или иного решения, вовремя обратив на себя внимание, подав в нужный момент прошение и получив «милостивую» резолюцию.

Секретарь Пархомов, надо полагать, не смел и мыслить о потрясении трона – он лишь всеми правдами и неправдами отстаивал свою семью. Но его более энергичные и предприимчивые современ-

ники смогли навязать Екатерине I сомнительное завещание, а Анне Иоанновне поднести сначала ограничение, а затем возвращение «самодержавства». К тому же Петр I и его супруга своим образом жизни десакрализовали образ монарха, сделали его «ближе к народу». Но за это пришлось платить: «Да и императрица де Екатерина Алексеевна – я де все знаю – вить де и она, правда де, хотя и любила своего супруга, однако ж де и другова любила, камергера Монса, которому де за оное при тех случаях и голова отсечена, а ея де за это государь очень бил. Да и императрица де Анна Иоанновна любила Бирона и за то его регентом устроила. Смотри де, что монархи делают, как де простому народу не делать чего», – излагал новейшую историю России с ее интимной стороны гвардейский офицер Григорий Тимирязев в 1742 г.³¹ Капитан-поручик угодил в Тайную канцелярию, но его более удачливые коллеги совершали лихие «революции». Вот и провинциальный чиновник осмелился «делать чего» – и его эпопея стала отражением «духа времени» начавшейся «эпохи дворцовых переворотов». Последние же затрагивали не только вельмож, но и роковым образом сказывались на судьбах «маленьких людей», подобных Максиму Парховому и его жене.

Примечания

- ¹ См.: *Бобровский П.О.* История лейб-гвардии Преображенского полка: Приложения ко II-му тому. СПб., 1904. С. 36, 196.
- ² См.: *Курукин И.В.* Романс о прелюбодейцах // *Родина.* 1999. № 7. С. 54–57.
- ³ См.: Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству православного исповедания. Серия 1. Т. 5. СПб., 1881. С. 452–454. Копия протокола Синода была подана Екатерине I (РГАДА. Ф. 9. Отд. II. № 94. Л. 340–342 об.).
- ⁴ См.: Протоколы, журналы и указы Верховного тайного совета // *Сборник РИО.* Т. 79. СПб., 1890. С. 526–528.
- ⁵ Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству православного исповедания. Серия 1. Т. 6. СПб., 1889. С. 158–160.
- ⁶ См.: РГАДА. Ф. 248. Оп. 13. № 696. Л. 219–222.
- ⁷ См.: Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству православного исповедания. Серия 1. Т. 7. СПб., 1890. С. 629.
- ⁸ См.: Протоколы, журналы и указы Верховного тайного совета: 1726–1730 гг. // *Сборник РИО.* Т. 84. СПб., 1893. С. 146.
- ⁹ Цит. по: Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству православного исповедания. Серия 1. Т. 6. С. 327.
- ¹⁰ Там же. С. 387–388.
- ¹¹ Там же. Серия 2. Т. 1. СПб., 1899. С. 51.

- ¹² Там же. Серия 1. Т. 7. С. 158.
- ¹³ РГАДА. Ф. 286. Оп. 1. № 213. Л. 64.
- ¹⁴ См.: Бумаги Кабинета министров императрицы Анны Иоанновны: 1731–1740 гг. // Сборник РИО. Т. 120. Юрьев, 1905. С. 462; Т. 124. Юрьев, 1906. С. 58.
- ¹⁵ Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству православного исповедания. Серия 2. Т. 1. С. 51.
- ¹⁶ См.: *Леонид (Кавелин), архимандрит*. Архимандрит Варлаам, духовник Анны Иоанновны // Русский архив. 1874. № 3. С. 568–588.
- ¹⁷ Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству православного исповедания. Серия 1. Т. 10. СПб., 1911. С. 120–122.
- ¹⁸ Там же. Серия 2. Т. 1. С. 51.
- ¹⁹ См.: Описание документов и дел, хранящихся в архиве Святейшего Правительствующего Синода. Т. 21. СПб., 1913. С. 350.
- ²⁰ Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству православного исповедания. Серия 2. Т. 1. С. 52.
- ²¹ См.: РГАДА. Ф. 1201. Оп. 5. № 1798а. Л. 4–8; Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству православного исповедания. Серия 2. Т. 1. С. 50–52.
- ²² См.: Историческое описание о восшествии на престол императрицы Елисаветы Петровны // Русский вестник. 1842. № 4. С. 9–14.
- ²³ См.: Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству православного исповедания. Серия 2. Т. 1. С. 52–53.
- ²⁴ См.: *Колчин М.* Ссылные и заточенные в острог Соловецкого монастыря в XVI–XIX вв. М., 1908. С. 76.
- ²⁵ См.: РГАДА. Ф. 1201. Оп. 5. № 1798а. Л. 19–19 об.
- ²⁶ Там же. Л. 25–25 об.
- ²⁷ Там же. Л. 21, 32–33.
- ²⁸ См.: Описание документов и дел, хранящихся в архиве Святейшего Правительствующего Синода. Т. 22. М., 1915. С. 199.
- ²⁹ См.: РГАДА. Ф. 1201. Оп. 2. № 145. Л. 1–5.
- ³⁰ Там же. Ф. 286. Оп. 1. № 360. Л. 1342.
- ³¹ См.: *Курукин И.В.* «Государыню заколоть шпагою...» // Родина. 2003. № 4. С. 54–57.

Эго-документы
как источники по изучению психологии
участников Первой мировой войны
(на примере архива семьи Смоляков)

В статье проанализированы ранее не публиковавшиеся дневник и переписка из документального комплекса семьи Смоляков, хранящегося в Государственном историческом музее. На основе этих материалов производится попытка реконструкции личности участника Первой мировой войны, его морально-этического облика, поведения в экстремальных ситуациях, отношения к жизни и смерти. Также затрагиваются особенности внутрисемейных отношений в период Первой мировой войны.

Ключевые слова: Первая мировая война, дневники, переписка, психология комбатанта, семейный архив, эго-источники.

В Отделе письменных источников Государственного исторического музея хранится документальный комплекс семьи Смоляков, потомственных государственных и военных служащих, включающий в себя свидетельства трех поколений: дед – Гордей Афанасьевич Смоляк (1796–1863), отец – Александр Гордеевич Смоляк (1838–1916) и три сына: старший – Всеволод Александрович (1882 г. р.), средний – Евгений Александрович (1885 г. р.) и младший – Александр Александрович (1886 г. р.). Всеволод и Александр погибли на фронтах Первой мировой войны в 1915 г. Евгений, тоже участник Первой мировой, скончался в разгар Гражданской войны в 1919 г. Комплекс был передан в дар Историческому музею четвертым братом – Смоляком Борисом Александровичем – в 1960 г.

От Всеволода и Александра сохранилось только несколько писем к Борису. А от Евгения, помимо писем – личные документы, включая послужной список, и личный дневник. Дневник представляет собой маленькую офицерскую книжку донесений со вложенными

в нее двумя небольшими блокнотными блоками. Текст написан бирюзовым почерком и местами сложно поддается считыванию. Борис Александрович переписал его разборчиво в отдельные тетради, снабдив текст краткими комментариями, но некоторые умышленные сокращения и исправления не позволяют в полной мере использовать список наравне с первоисточником. Дневниковые записи по тексту адресованы жене Евгения Александровича Ольге Юльяновне. Будучи участником Восточно-Прусской, Варшавской и Лодзинской операций, освещает события со 2 августа по 18 декабря 1914 г.¹ В послании к жене автор отмечает: «Пишу их [дневниковые записи] урывками... Пользуюсь только десятиминутными перерывами во время похода...»². Но при этом записи делались почти ежедневно, события почти всех дней расписаны по часам, указывались населенные пункты, расстояния переходов. Все происходящее описано в красках и с вниманием к мельчайшим деталям.

Евгений Александрович Смоляк родился 23 октября 1885 г. Окончил 5 классов Гродненской мужской классической гимназии. В сентябре 1904 г. поступил вольноопределяющимся в 101-й пехотный Пермский полк. В октябре того же года зачислен в учебный комитет. В мае–июне 1905 г. произведен в ефрейторы, а в августе поступает в Виленское пехотное юнкерское училище. По окончании училища в июне 1908 г. произведен в подпоручики и направлен в 102-й пехотный Вятский полк. Первую мировую встречает в звании поручика в пулеметной команде того же полка в составе 26-й пехотной дивизии 2-го армейского корпуса. Был дважды контужен в боях под фольварком Рухно в ноябре 1914 г. В декабре 1914 г. назначен начальником пулеметной команды. В сентябре 1915 г. – штабс-капитан, в сентябре 1916 г. – капитан. В августе 1917 г. переведен на службу в 52-ю пехотную запасную бригаду. Войну заканчивает в звании подполковника. Был награжден орденами Св. Анны 4-й степени и Св. Владимира 4-й степени³. В декабре 1917 г. приезжает в Воронеж, куда была эвакуирована его жена. Работал вначале приказчиком в книжном магазине, затем слесарем в мастерских Юго-Восточных железных дорог, потом устроился в сапожную мастерскую. В конце 1918 г. вступает в ряды Красной армии на должность заместителя начальника снабжения 12-й стрелковой дивизии 8-й армии. Но в 1919 г. во время одной из командировок в Екатеринославскую губернию заболел сыпным тифом и спустя несколько дней умер⁴. Борис Александрович вспоминает своего брата Евгения как человека с золотыми руками, который применял свое мастерство в пулеметной команде и был незаменимым работником⁵.

За последние годы о повседневной жизни человека на войне издано немало публикаций. Особенное место среди них занимают работы Е.С. Сенявской. Разрабатывая тему военной повседневности, она концентрирует свое внимание на психологии участников войны. Говоря о жизни человека на войне, заостряет внимание на пограничных ситуациях (бытие на грани жизни и смерти), сменяющих друг друга и переходящих в состояние постоянного фактора⁶.

Читая страницы дневника Евгения Александровича Смоляка, можно реконструировать его психологию как участника глобального военного конфликта. Будучи кадровым офицером, даже в период военных действий сохранял в себе мягкость характера, тем самым адаптация к пограничным ситуациям у него проходила довольно-таки болезненно, он глубоко переживает как свои страдания, так и страдания других людей, в особенности гражданского населения и беженцев. Видно, что человек он был замкнутый и многие впечатления, сокровенные мысли и душевные переживания Е.А. Смоляк доверял только своим записям. В дневнике встречаются строки, описывающие отношение автора к своему тексту, видно большое внутреннее напряжение при мысли о том, что кто-то посторонний сможет прочитать его записи. «9 часов вечера – из канцелярии пришло приказание вр[еменного] команд[ующего] полком Стефанского – завтра к 9 часам утра представить в штаб полка “оконченные полевые книжки, свои личные книжки со всевозможными заметками о войне и вообще все то, что касается войны по 31 октября [1914 г.] включительно”. Полевых книжек у меня нет, так как ни разу я еще не посылал донесений, а что касается своих личных заметок, то не увидит их никто, кроме тебя, Оля. Не для полка писал я их. А копаться в моей душе посторонним – не позволю»⁷. Далее, через два дня пишет: «Сегодня появилось новое приказание Стефанского о полевых книжках, личных записках, впечатлениях и т. д. – хранить их впредь до особого распоряжения. Что касается меня, то я, конечно, буду хранить их, но только для себя»⁸.

В дневнике множество раз говорится об ужасах войны, постоянно фиксируются мысли о необходимости скорейшего мира, при отсутствии актуальной прессы в тексте воспроизводятся слухи о мирных договоренностях сторон. О положении на фронте узнавали из обрывистых телеграмм или из несвежих газет. Автора дневника удивляет такая информированность войск, и он жалуется на негативное влияние слухов на нижние чины: «Войска не могут питаться иллюзиями, а между тем, благодаря тому, что позавчера пришли газеты за 3, 4, 5, 6 августа [а запись в дневнике от 22 августа] и контрабандой за 16, то естественно всюду бродила масса слухов, возбуждающих людей»⁹.

В записях с 26 по 28 августа 1914 г. рассказывается об исключительном по силе бое у Тиргартена, когда немецкая артиллерия громила окопы с русскими солдатами. Наша артиллерия с недостаточной дальностью боя не могла дать должного отпора. Евгений Александрович раскрывает свое внутреннее состояние в данной экстремальной ситуации: «Не скажу, чтобы в данную минуту только видя перед собой разрывы неприятельских снарядов, я испытывал чувство страха... Но видя перед собой в нескольких местах пожары, ясно слыша громовую канонаду в такой ясный солнечный день, как сегодня, невольно встает передо мной старый наболевший вопрос: зачем эта проклятая война, кому нужна человеческая кровь, когда всем хватит места под солнцем»¹⁰. Иногда автора накрывает апатия: «Бывают целые часы теперь, когда становишься равнодушным к тому, жить мне или не жить»¹¹. Многие его сослуживцы и подчиненные старались абстрагироваться от окружающей действительности: общались на свободные темы, рассказывали анекдоты. Смоляк же все больше замыкался в своих мыслях, не понимал легкомысленного отношения к жизни: «Как могут жить они так, не зная, что ждет их впереди? Чувствую, что спокойствие духа как бы вновь покидает меня»¹². Автор обращает внимание на поведение военнослужащих в период артиллерийского обстрела в первом бою, принятом 102-м Вятским полком, на то, как тяжелые боевые условия меняли поведение людей, заставляли их замолкать и уповать на Бога: «...в окопе почти тихо, совсем не слышно обычной солдатской ругани, только местами идет между людьми вполголоса разговор. Видно по всему, что только теперь люди начинают понимать, когда по их взглядам были просто маневры, и когда началась война. Я видел людей, сидящих в окопе с молитвенниками»¹³. Выжить в начале войны Евгений Александрович и не надеялся, о чем красочно говорит рукописная календарная таблица на форзаце дневника за июль–сентябрь 1914 г. с перечеркнутыми днями и заголовком: «Когда жизнь оборвется?»¹⁴.

Отношение к чужой смерти у Смоляка нетипичны для строевого офицера. Во время Лодзинской операции 7 ноября 1914 г. 103-й Петрозаводский полк принял бой под деревней Злаков-Борова и понес серьезные потери. Впечатлительный автор сообщает: «...недалеко от придорожного креста лежал навзничь убитый офицер 103 полка – одна из многих жертв вчерашнего несчастного боя. Эх, Олечка! Если бы ты видела его окровавленного под одиноким крестом, где этот несчастный нашел свое последнее убежище... Трудно из-за сплошной раны на лице разобрать, куда он ранен – широкая струя запекшейся крови прошла через левый глаз, лоб и волосы, залив ворот шинели. Под левой же мышкой сразу бросается в гла-

за продранная шинель с запекшимися от крови краями. Какой-то подлец не пощадил мертвеца и стащил с него сапоги. Посиневшие пальцы ног и уши производят жуткое впечатление»¹⁵. Далее в этот же день пишет: «При обратном движении через деревню Злаков-Борова я забежал посмотреть на трупы убитых во вчерашнем бою. Всего их было перед деревней человек восемь, из них наших шесть, а за деревней лежало всего трупов двадцать. Как спокойны у всех лица, но как страшно окровавлены, точно окунули их в кровавую ванну. Почти у всех разбиты головы и залиты кровью так, что ничего нельзя узнать»¹⁶. Но как видно, даже у такого эмоционального человека происходит постепенное привыкание к жертвам войны, уходит художественное описание. Как, например, при нападении немцев на его пулеметную позицию у деревни Домарадзин: «Это стоило мне двух убитых и трех раненых рядовых»¹⁷, или после боя у фольварка Рухно: «Сегодня у меня убит один, ранено три нижних чина, в третьем батальоне 16 человек, а вчера 1 убит, 10 ранено»¹⁸.

Автор сравнивает свое ощущение времени до войны и во время войны: «В обыкновенное время вероятно эти месяцы прошли бы, не оставив о себе особых воспоминаний. ...Но тут почти каждый час переживаешь так, как не будешь никогда переживать»¹⁹.

В описании боев под Злаков-Борова прослеживается одна из стержневых идей дневника – критика повального воровства и мародерства военнослужащими Русской императорской армии: «Но что за мерзавцы наши, именно наши солдаты. Все трупы за исключением одного, ограблены. Сняты сапоги, портянки, с одного даже шаровары сняты»²⁰.

Но первые случаи мародерства начались сразу же после пересечения полком границы Восточной Пруссии 5 августа 1914 г. Красочно описывается эпизод массового расхищения имущества и продуктов питания как рядовыми, так и младшим офицерским составом у немецкого фольварка Янута. «Здесь вполне проявилась низменная натура некоторых солдат. Набросившись на фольварк, хозяин которого немец выехал, а женщины ушли только сегодня утром, солдаты повстречали там оставшегося сторожа, поляка лет 60-ти. Его не тронули, но первым делом пошли кто куда: кто – в сад за яблоками и грушами, кто рыскать по дому, кто по сараям. ...Из дома была вытащена целая партия копченого сала и по распоряжению кап[итана] Мелешко его хотели разделить между ротами, предварительно предоставив сторожу взять столько сала, сколько ему угодно. Сторож взял немного, но потом ему вернули все, так как кап[итан] Мелешко решил резать свиней. Но с приходом подполк[овника] Ключкова все несколько изменило свой оборот

и имущество не было тронуты»²¹. Эти действия никак не подходили под законы о реквизиции, да и с питанием в полку на тот момент было более чем нормально: «Зачем это было сделано – люди и сами не ответили б, так как в это же время пришли кухни и, значит, в еде они не нуждались. Так, просто, надо было хоть немного пограбить»²². Автор, будучи человеком высоких моральных убеждений, никогда не принимал в этом участия и даже за, казалось бы, невинные поступки укорял себя: «и я грешным делом съел несколько яблок и груш»²³. Сравнивает поведение наших военнослужащих с немецкими: «Надо заметить, что когда немцы приходили в наши деревни, то ничего у крестьян не трогали, а жгли только кордоны, то есть то, что принадлежало казне»²⁴.

Читая дневниковые записи начала войны, складывается впечатление, что лишь присвоение чужого имущества, а вовсе не боевой дух, мотивировали войска продвигаться в глубь территории противника. 11 августа «в 10 час. 30 мин. утра наш отряд прошел через г. Арис. Как и следовало ожидать, на каждой улице есть по несколько разгромленных магазинов. И что это за армия! Русское воинство – какая-то разбойничья шайка, – только и занимающаяся грабежами. Противно смотреть на солдат, несущих полные руки сигар и тому подобных вещей»²⁵. Были случаи поимки виновных и расправы над ними: «...тут началось полное избиение грабителей. Били их кулаками, прикладами, ногайками; били так, что в кровь разбивали физиономии и она, разливаясь по полу, смешивалась с конфетами и всякими товарами. После этого всех прогнали; я, признаться, мало удовлетворился этой расправой. Здесь нужно расстрелять или повесить несколько экземпляров, тогда будет тише»²⁶. К 18 августа из штаба корпуса приходит приказ о смертной казни за грабежи: «когда от имени командира полка Ильин запретил брать нижним чином всякую птицу, свиней и т. д., то я подумал: давно пора, это – хорошо. Но когда через несколько минут я зашел в сарай и застал там того же Ильина, Стефанского и Грибанова, кушавших под рюмку водки что-то вроде жареной утки или гуся, и у меня вновь мелькнула мысль: “Это тоже возмутительно: требовать от нижних чинов отказа от куриного супа, а самому со спокойной совестью обедаться дичью на глазах у тех же нижних чинов”»²⁷.

С горькими чувствами Евгений Александрович описывает отступление армии Ренненкампа из Восточной Пруссии 27 августа – 3 сентября 1914 г. Наголову разгромлена была 26-я пехотная дивизия, солдаты попросту разбегались. Автор дневника в этой панике отбил от своего полка, но страх за собственную жизнь превалировал над остальными чувствами: «Ноги мои ныли от нестерпимой



Всеволод (слева) и Евгений (справа) Смоляки,
декабрь 1913 г.

боли, я едва хожу, так как по всей вероятности натер волдыри. ...Я удивляюсь, откуда у меня взялись силы идти с 1 часа 30 минут дня до трех часов ночи без перерыва»²⁸.

Интересно проследить взаимоотношения трех братьев на войне. Из биографий видно, что они шли по стопам друг друга. Из переписки становится ясно, что они крепко дружили семьями, их жены так же по-товарищески поддерживали и помогали деверьям.

Всеволод Александрович Смоляк (родные называли его Володей), как и Евгений Александрович, поступил в Виленское училище, по окончании которого в 1908 г. назначен подпоручиком в 103-й пехотный Петрозаводский полк. С этим полком в чине поручика в 1914 г. он пошел на войну. В ноябре 1914 г. был представлен к орденам Святого Владимира 4-й степени и Святой Анны 4-й степени. 25 февраля 1915 г. был назначен командиром роты, с 13 апреля – временно командующий батальоном. Был убит 2 июня 1915 г. в ночном бою у деревни Подлюбовка Сувалкской губернии.

Александр Александрович Смоляк, учась в Гродненской мужской гимназии, принимал участие в событиях Первой русской революции 1905–1907 гг., примкнув к партии «Бунд». Окончил гимназию в 1907 г. и поступил в Санкт-Петербургский университет на естественный факультет. По окончании университета в 1912 г. пошел на военную службу вольноопределяющимся к брату Всеволоду в 103-й полк, откуда вышел в 1913 г. прапорщиком запаса. Перед войной работал

надзирателем казенных земель 2-го района Харьковской губернии. В августе 1914 г. был призван в 34-й Севский полк. 26 августа был ранен в боях под Львовом. Вернувшись в полк после выздоровления 8 января 1915 г. был назначен командиром 1-й роты, но ввиду непригодности к строевой службе переведен в отделение продовольственного транспорта 10-го армейского корпуса в ранге младшего офицера. 17 апреля 1915 г. при воздушном налете австрийской авиации в городе Ясло в Галиции был тяжело ранен и скончался в этот же день.

Евгений, находясь в одной дивизии со Всеволодом, неоднократно с ним пересекался, о чем свидетельствует в дневнике и в письмах к брату Борису. При встрече у них были долгие разговоры, как могли, помогали и поддерживали друг друга: «До этого увидел Володю и долго говорил с ним. Он находится при офицерской кухне и заведует ротой носильщиков. Он дал мне два куска утки и хлеба. С какой жадностью я съел все это!»²⁹.

С Александром братья не пересекались, но вели активную переписку, о чем сам Александр пишет в письмах к Борису. После ранения он безудержно стремился вернуться в армию, совесть ему не позволяла оставаться безучастным, в то время как Женя и Володя были на передовой. Видно, что он ратовал за то, чтобы воевать бок о бок с ними. Пишет во время лечения из Старобельска 23 ноября 1914 г.: «Если выздоровею, то буду просить перевода в 103-й полк к Володе»³⁰. И уже по дороге в расположение своей части в канун Рождества 1914 г.: «Хотел просить перевода в 103-й полк к Володе, но оказывается, что это сопряжено с такими формальностями, что ожидать благополучного решения не приходится»³¹.

Кончина Александра Александровича, оказавшегося первой жертвой «всемирной бойни» в семье Смоляков, стала серьезным ударом для старших братьев. «Итак, смерть коснулась и нашей семьи, и только теперь можно во всей глубине почувствовать весь ужас переживаемого времени. Значит не даром минутами ко мне в душу закрадывалось дурное предчувствие, так как после получения 25 апреля от Шуры последнего письма – до настоящего от него ничего не получал – срок для его аккуратности в переписке слишком большой»³², – пишет Всеволод незадолго до собственной гибели. Жена Евгения Александровича старалась до последнего держать втайне от мужа смерть его младшего брата. Только в начале 1916 г. он узнает со всеми подробностями об этом: «Бедный Саша! За что умер он мучительной смертью, с оторванными ногами и 40 ранами от бомбы, брошенной с аппарата 17 апреля в Ясло?»³³

Смерть Всеволода Смоляка до конца оставалась неясной. Свидетелей его гибели не было, и у всех оставалась надежда, что он



Александр Александрович Смоляк,
январь 1915 г.

попал в плен. Александр пишет через несколько дней после боя с участием брата: «Так как немцы были близко, то Володю так и не вынесли. Теперь неизвестно, убит он или же тяжело ранен и попал в плен»³⁴. Отсутствие писем от Всеволода, конечно же, объяснялось его гибелью, но последняя надежда еще оставалась. В октябре 1916 г. Борис Александрович направляет запрос о нахождении брата в германском плену через Московский Комитет помощи русским военнопленным и Бюро в Копенгагене. В марте 1917 г. приходит ответ, что среди пленных он не найден³⁵.

Как видно, Борис Смоляк пронес любовь и уважение к героическим подвигам своих братьев через всю жизнь: бережно сохранил память о них, пытался реконструировать их боевой путь. Приведенные в статье источники дают понимание психологии отдельных участников Великой войны, их моральные установки, межчеловеческие и внутрисемейные отношения в условиях постоянного страха за свою жизнь и жизнь близких людей. Проекция чужих судеб на собственное «я», внутриличностный и бытовой дискомфорт, желание скорейшего окончания войны – эти психологические моменты объединяют братьев Смоляков с другими участниками не только Первой мировой войны, но и других войн XX в. «Утомился я в этой непосильной работе и об одном прошу Бога – скорее кончать эту преступную войну. Все равно ничего не будет. А впрочем, что Бог даст», – так заканчивал свое письмо Евгений Александрович Смоляк в январе 1916 г.³⁶

-
- 1 Все даты даны по старому стилю.
 - 2 ОПИ ГИМ. Ф. 426. Оп. 1. Ед. хр. 112. Л. 65.
 - 3 Там же. Л. 58 об., 59 об., 63–63об.
 - 4 Там же. Ед. хр. 111. Л. 191об. – 192.
 - 5 Там же. Ед. хр. 110. Л. 21–22.
 - 6 *Сенявская Е.С.* Отношение к жизни и смерти участников Первой мировой войны: очерк фронтовой повседневности // *Былые годы.* 2012. № 3 (25). С. 31.
 - 7 ОПИ ГИМ. Ф. 426. Оп. 1. Ед. хр. 111. Л. 82об. – 83.
 - 8 Там же. Л. 84об. – 85.
 - 9 Там же. Ед. хр. 112. Л. 87об.
 - 10 Там же. Л. 89.
 - 11 Там же.
 - 12 Там же. Л. 87.
 - 13 Там же. Ед. хр. 110. Л. 128об. – 129.
 - 14 Там же. Ед. хр. 112. Л. 140а.
 - 15 Там же. Л. 109.
 - 16 Там же.
 - 17 Там же. Л. 112.
 - 18 Там же. Л. 119.
 - 19 Там же. Л. 98.
 - 20 Там же. Л. 109об.
 - 21 Там же. Л. 68.
 - 22 Там же.
 - 23 Там же.
 - 24 Там же.
 - 25 Там же. Л. 74об.
 - 26 Там же. Л. 76об. – 76.
 - 27 Там же. Л. 82–83.
 - 28 Там же. Ед. хр. 110. Л. 138об.
 - 29 Там же. Ед. хр. 112. Л. 93об.
 - 30 Там же. Л. 153.
 - 31 Там же. Л. 154.
 - 32 Там же. Л. 169об. – 170.
 - 33 Там же. Л. 190.
 - 34 Там же. Л. 187об.
 - 35 Там же. Л. 198.
 - 36 Там же. Л. 192.

Повседневность запасных батальонов гвардии накануне Февральской революции

Статья посвящена вопросу кризиса жизненного мира запасных батальонов гвардии накануне Февральской революции с точки зрения повседневности Петрограда как прифронтового города. На основе впервые вводимых в научный оборот архивных материалов анализируется повседневная жизнь запасных батальонов, их внутренние конфликты и конфликты с городскими властями и горожанами. Делается вывод о готовности запасных батальонов к антивоенному бунту, представлявшемуся как форма защиты основных принципов своего жизненного мира.

Ключевые слова: Первая мировая война, Петроградский гарнизон, гвардия, жизненный мир, повседневность, Февральская революция.

Февральская революция положила начало крушению старого мира. Обычно под этим понимается ликвидация монархии, слом царской армии, развитие революционного движения среди рабочих, солдат, крестьян, представителей окраин и народностей России. Меньше говорится о крушении, гибели жизненных миров многочисленных социальных групп. И еще менее анализируются жизненные миры непосредственных деятелей революционных событий¹ – частей Петроградского гарнизона, в том числе гвардии.

Исследование особенностей повседневной жизни запасных частей русской гвардии, трансформации их настроений, защиты своих традиций, ценностей, привилегий может раскрыть дополнительные причины перехода элитной солдатской массы на сторону революции, приведшей к падению самодержавия².

В данной статье повседневность запасных частей гвардии рассматривается как часть обычной жизни прифронтового города,

имевшего целью мобилизацию населения для пополнения армии и одновременно релаксацию фронтовиков в городе от военных будней. Другим важным аспектом столичной повседневности является устоявшаяся иерархия ряда социальных групп и корпораций, место в которой были вынуждены защищать запасные части гвардии. Работа основана на анализе впервые вводящихся в научный оборот материалов из фондов Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА): управления главного начальника снабжений армий Северного фронта, штаба Петроградского военного округа, штаба 19-й пехотной запасной бригады, управления запасных гвардейских частей и управления инспектора войск гвардии при штабе Верховного главнокомандующего.

Запасные батальоны русской гвардии являлись частью Петроградского гарнизона, в который входили как гвардейские, так и негвардейские части. Основу гвардии составляли 12 запасных батальонов (в 1917 г. – резервные полки) гвардейской пехотной запасной бригады: Преображенского, Семеновского, Измайловского, Егерского, Московского, Гренадерского, Павловского, Финляндского, Литовского, Кексгольмского, Петроградского и Волынского полков. В каждом батальоне было по 5–7 тыс. чел.³, а всего – 73 759 чел. по списку. К гвардии относились также запасные батальоны 4 гвардейских стрелковых полков по 6–8 тыс. чел. в каждом, всего – 28 067 чел. по списку. Кроме того, к составу гвардии принадлежали запасные роты гвардейского саперного батальона и гвардейского экипажа, гвардейский артиллерийский дивизион, запасной лейб-гвардии конной артиллерии дивизион, сводный казачий и гвардейский запасной кавалерийский полки. Всего, таким образом, в 22 запасных гвардейских частях Петроградского гарнизона насчитывалось 108 902 по списку, а налицо – 95 863 чел.⁴

К Петроградскому гарнизону принадлежали также части 1-й и 19-й пехотных запасных бригад. В отличие от гвардии, куда поступали призывники со всей России, в эти части набор производился из населения северо-западных губерний России, т. е. мест, относящихся к Петроградскому военному округу. К 1-й бригаде относились 175-й, 177-й, 178-й и 179-й пехотные запасные полки, насчитывавшие 23 717 чел. К 19-й бригаде относились 1-й, 3-й, 172-й, 176-й, 180-й и 181-й пехотные запасные полки, насчитывавшие 78 тыс. чел. (в среднем в первой половине 1916 г.). Кроме того, в состав гарнизона входили 16-я Ярославская, 308-я Петроградская, 343-я Новгородская, 86-я, 88-я, 89-я, 90-я и 348-я Вологодские пешие дружины государственного ополчения, а также 1-я запасная артиллерийская бригада⁵.

В настоящей статье исследуется жизнедеятельность гвардейских воинских частей, находившихся в черте города и готовившихся к отправке на фронт. Они выполняли различные виды работ и службы в городе и сталкивались лицом к лицу с различными слоями городского столичного населения. Проживание этих частей в столице было связано с их обязанностями по подготовке новых пополнений, а также охране на случай тревоги по обороне от воздушных нападений, и, наконец, по охране города на случай общественных беспорядков. Эти части были расположены и причислены к определенным полицейским частям и отделениям столицы, в основном в ее центре. К первой части относились батальоны Преображенского (Миллионная, 33), Павловского (Миллионная, 2), Кексгольмского (Морская, 67), 2-го стрелкового (Вознесенский проезд, 16) полков. Ко 2-й части относились батальоны Измайловского (Фонтанка, 120) и Петроградского (Измайловский пр., 2) полков. К 3-й части относились батальоны Семеновского (Загородный пр., 48), Егерского (Звенигородская, 5), Литовского (Кирочная, 37), Волынского (Виленский пер., 15) полков и 308-я Петроградская дружина (Шпалерная, 53). К 4-й части относились батальоны Гренадерского (Большая Вульфова, 27), Финляндского (Васильевский остров, 18-я линия, 5) полков, 4-й железнодорожный рабочий батальон (Петроградская сторона, Большой проезд, 84), 16-я Ярославская дружина («Старая Бавария», Петровский проезд, 9) и 88-я Вологодская дружина (остров Голодай, Голодаев пер., 6). К 5-й части относились батальоны Московского полка (Б. Сампсониевский пр., 63/65), 1-й (М. Охта, 26) и 181-й пехотные запасные батальоны (Выборгская сторона, Флюгов пер.), 3-й железнодорожный рабочий батальон (Сампсониевский пр., 84-Б), Охтенская местная пехотная команда (Охтенский пороховой завод). К 6-й части относились 180-й пехотный запасной батальон (Смоленское поле), 1-й (Обводный канал, 171) и 5-й железнодорожные рабочие батальоны (Обводный канал, 175), 86-я Вологодская дружина (Обводный канал, 21)⁶. На октябрь 1916 г. в этих частях насчитывалось свыше 116 тыс. чел.⁷

В литературе как аксиома сообщается об усилившемся пролетарском составе гвардии в конце 1916 г. Якобы «пролетарская прослойка» в гвардии составляла 24%, чем и объясняется переход запасных батальонов на сторону революции⁸. Данные о социальном и профессиональном составе гвардейских запасных батальонов рисуют иную картину. Когда в 1916 г. встал вопрос о замене бастовавших рабочих, специалистов по различным профессиям в области промышленности, то начальство запросило данные и по запасным

гвардейским батальонам о наличии в их рядах представителей рабочих специальностей. Но в батальонах лиц, владеющих рабочими профессиями, оказалось немного. В батальоне Преображенского полка их было 27: 24 шофера и 3 токаря. В батальоне Семеновского полка их оказалось 41: 4 шофера, 7 слесарей, 1 кузнец, 1 токарь, 4 специалиста по моторам внутреннего сгорания, 1 столяр, 21 плотник, 1 маляр, 1 литейщик. В батальоне Измайловского полка таких специалистов оказалось 37: 1 шофер, 1 слесарь, 3 кузнеца, 8 токарей, 4 молотобойца, 1 железнодорожник, 3 столяра, 10 паяльщиков, 5 маляров, 1 колесник. В остальных батальонах была такая же картина: по 30–50 человек специалистов, т. е. не больше 1% состава. Только в Егерском полку их оказалось 191 чел. (около 3% состава). Но даже и в таком небольшом количестве представителей рабочих специальностей, собственно связанных с деятельностью в промышленности лиц, было немного. Главным образом это были каменщики, плотники, землекопы, штукатуры, маляры, столяры, которых отнести к представителям технических специальностей можно с натяжкой, учитывая знакомство в деревне с такими работами почти всех крестьян. Кроме того, начальство не доверяло подлинности самих заявителей, подчеркивая, что все сведения известны только с их собственных слов⁹.

Гвардейские батальоны пополнялись в основном из состава крестьян и мещан со всей России. Только в августе 1916 г. в гвардию на пополнение пришли 50 тыс. ратников 2-го разряда, что составляло приблизительно треть состава запасных батальонов¹⁰. Вновь прибывшие в батальоны, особенно к началу 1917 г., несли на себе все признаки недовольства затянувшейся войной, истощения людских резервов, ухудшения качественного состава новобранцев и ополченцев 2-го разряда. Постоянное обновление запасных частей угрожало традиционному элитному составу гвардии. Поэтому сосуществование в Петрограде наряду с гвардейскими частями пехотных запасных полков имело определенный смысл в поддержании стабильности элитных частей. Как правило, именно в запасные полки отправлялись все нарушители, дезертиры из гвардии. Проблема опущения гвардейских запасных частей от преступного или полупреступного, а в некоторых случаях и революционного (эпохи революции 1905–1907 гг. и после нее) элемента даже обострилась к концу 1916 г. Это было связано с большим количеством (6–7% от состава пополнений) лиц, ранее отбывших сроки заключения за различные преступления и лишенных права поступать на военную службу. В связи с декриминализацией статей соответствующих законов таких лиц стало все больше попадать в армию, в том числе

и в гвардию. Правда, в запасных гвардейских батальонах они долго не оставались и передавались в запасные пехотные батальоны. Однако такая пересылка затягивалась на несколько месяцев, когда эти лица уже были зачислены в гвардию. В результате полупреступный элемент оставлял следы своего пребывания в «элитных» частях, понижая их качество¹¹. В запасные полки также прибывали командировочные с фронта, часто с бунтарскими настроениями, что вносило в атмосферу запасных полков элемент тревоги, нарушения дисциплины¹². Гвардейцы имели контакты и с другими родами войск, где понятия дисциплины были размыты. Так весной 1916 г. в казармах Московского полка помещались несколько человек гальванеров, командированных с судов Балтийского флота на завод Эриксона. В результате начальство полка оказалось перед лицом серьезного нарушения дисциплины со стороны моряков. Чистота рядов гвардии нарушалась также и в результате постоянного перемещения дезертиров из полка и обратно. Так, дезертиры, уйдя из части, возвращались порою добровольно в нее. Однако опыт ухода от службы, конечно, передавался сослуживцам¹³. Большую проблему в запасных батальонах представляли пополнения из числа «эвакуированных», т. е. прошедших курс лечения в Петроградских госпиталях и вновь направившихся в армию. Как лиц с расшатанной дисциплиной, их оставляли в четвертой роте батальонов. Но и там они представляли серьезную опасность для поддержания порядка, что и выразилось в их активном участии в февральских событиях¹⁴.

В литературе порою представляют жизнь в запасных частях в Петрограде как почти бесцельное времяпрепровождение¹⁵. Источниками для такой информации служат воспоминания гвардейцев-фронтовиков, искавших в Петрограде возможности отдохнуть, развлечься. В некоторых работах даже содержатся ошибочные утверждения, что попадание в гвардейские запасные части освобождало вообще от несения военной службы на фронте. В итоге решение послать гвардейцев-запасников на фронт весной 1917 г. и стало якобы главной причиной их бунта¹⁶. На самом деле главной задачей всех запасных частей Петроградского гарнизона было обучение новых пополнений для отправки в действующие гвардейские и пехотные полки. Для этого использовалась система интенсивного обучения (в течение 8–16 недель), построенная на постоянно совершенствовавшихся программах и методических пособиях и заканчивавшаяся проверкой – осмотром маршевой роты. Важнейшими в этом процессе подготовки являлись курсы учебной команды, дававшей младший начальствующий состав пополнений. Форма

отчета такого осмотра предусматривала наличие «паспорта» роты. В нем были указаны все лица, обучавшие роту, рядовой состав с указанием происхождения военнослужащих, количество недель обучения, результаты стрельб, одиночной выправки, дисциплины в строю, ружейных приемов, виды строя, тактическая подготовка, полевой устав, знание своих обязанностей, уставов (гарнизонной, полевой, охранной службы), штыкового боя, окопного дела, стрелковой подготовки, а также результаты проверки обмундирования, обуви, снаряжения. В конце отчета помещались общее заключение о готовности роты к отправлению на фронт и подписи проверочной комиссии¹⁷. Только в 1916 г. 16-ю гвардейскими запасными батальонами было отправлено на фронт 222 маршевые роты, включая 1039 офицеров и 78 988 нижних чинов. А всего за 1914–1916 гг. всеми гвардейскими запасными частями было выпущено в качестве пополнения в действующие гвардейские части на фронте 2528 офицеров и 253 486 нижних чинов (по годам: 386 и 46 381; 1060 и 122 800; 1082 и 84 305)¹⁸. Кроме маршевых рот, батальоны готовили еще специальные команды: пулеметчиков, минометчиков, бомбометчиков, разведчиков, как конных, так и пеших, телефонистов¹⁹.

Гвардейские части и на фронте пытались поддержать свою особенность, элитность. Этому способствовало и то, что именно они первыми получали для испытания новые образцы обмундирования, продовольствия, вооружения и т. п.²⁰ От гвардии требовалось поддержание и высоких боевых качеств, морального духа. Однако именно на фронте стали выявляться несоответствие подготовки вновь прибывающих из Петрограда частей заданным, ожидаемым параметрам. Тревожные сигналы приходили уже с начала 1916 г. Правда, они касались всей армии²¹. Но вскоре уже и командиры гвардейских частей стали выдвигать претензии к начальству гвардейской запасной бригады в связи с низкой боевой и морально-политической подготовкой. Командир Измайловского полка в январе 1917 г. заявлял, что прибывшие нижние чины не были ознакомлены с историей полка за текущую компанию, с подвигами отдельных нижних чинов, вообще с успешными боями полка. Тогда же командир 2-го гвардейского стрелкового полка писал, что в ряде рот почти во всех отделах, как по строевой, так и по боевой подготовке, результаты оказались только удовлетворительными, несмотря на срок обучения 8–9 недель. Особенно подчеркивалась слабая одиночная подготовка, штыковой бой, вообще боевая сообразительность, подготовка, которая «или ниже удовлетворительной, или вовсе отсутствует». Командир полка ставил вопрос

об общем духе подготовки присылаемых пополнений. Фронтные начальники считали, что маршевые роты вообще не готовы к атакам. Командир Семеновского полка П.Э. Тилло констатировал «отсутствие желания у запасного батальона идти навстречу своему полку» и даже требовал произвести замену командира запасного батальона полковника П.И. Назимова. Помощник начальника гвардейских запасных частей полковник В.И. Павленков возражал на обвинения с фронта, что подготовка призываемых людей в запасных батальонах «велась и ведется в настоящее время строго на основании соответствующих приказов, инструкций и распоряжений», а сами маршевые роты получили удовлетворительные оценки при заключительном осмотре, в чем принимали участие и начальники с фронта. В конечном счете Тилло после личных сношений с полковником Назимовым посчитал его дальнейшую службу в должности командира батальона возможной, а замену его новым лицом, не ознакомленным со сложной организацией запасного батальона, нежелательной. Так перед лицом необходимости сохранения единства в гвардии претензии фронтного начальства были временно сняты²².

Казалось, меньше испытаний для гвардии представит исполнение запасными батальонами традиционных обязанностей по охране важнейших объектов в столице. Такие функции гвардии являлись, пожалуй, самой ценной для этой корпорации чертой жизненного мира. И рядовые гвардейцы, и начальство крайне высоко ценили свои обязанности и вытекавшие из них привилегии по участию в парадах, караулах и церемониях, возможности часто видеть Николая II и членов императорской фамилии и даже быть им лично известными²³. Во время войны значение этих обязанностей еще более возросло. Начальник гвардейских частей Чебыкин полагал, что на этих частях лежит «совершенно особая обязанность, а именно охрана Петрограда». Для этого у каждой части был свой район, охватывающий несколько полицейских участков, различных казенных учреждений, заводов и фабрик и т. п. При этом в целом караулы гвардейских частей стояли в основном в престижных пунктах: в Зимнем, во дворцах членов императорской фамилии, императорских театрах, на объектах государственной важности – газовый завод, электрическая станция, Арсенал, водоканал, Госбанк, Царскосельский вокзал, почта, телеграф и т. п. Еще в 1915-м и начале 1916 г. части гвардейцев посылались на охрану ряда заводов: Обуховского, Балтийского, Путиловского. Однако в конце 1916 г. на заводах их заменяют негвардейские части, хотя и входившие в Петроградский гарнизон. Правда, гвардейские части должны были

выделять наряды на заводы в чрезвычайных случаях по запросу гражданских властей. Всего в ежедневном наряде для несения гарнизонной службы гвардейскими частями, расположенными в городе, на ноябрь 1916 г. выставлялось от 12-ти батальонов основных полков и трех стрелковых и одного саперного батальонов из общего состава 83 817 чел. – 2467 чел. из 4005 чел. от всего гарнизона²⁴.

Кроме обучения, караульной службы по городу, военнотружущие запасных гвардейских частей вели широкую концертную, а также и деловую деятельность. Связано это было исторически с тем, что сам состав гвардии обладал интересным, порою талантливым контингентом людей, рассматривавших службу в гвардейских частях в столице как «социальный лифт». Прибывши в Петроград, они легко находили себе возможность проявить свои таланты на многих поприщах. Значимость гвардейцев особенно возросла во время войны в связи с общей нехваткой рабочей силы в различных областях жизни. Так, например, хотя в запасных батальонах было разрешено держать в каждом не более чем 12 человек взрослых солдат-певчих, с начала военного времени полковые хоры имели по 150 человек. Как правило, эти певчие, исключительно из ратников 1-го и 2-го разряда, т. е. не принадлежащие к переменному, готовящемуся к посылке на фронт, составу, занимались только пением, часто даже жили на частных квартирах, несмотря на неоднократные приказы, запрещающие военнотружущим жить вне казарм. Свое мастерство воины-певчие проявляли в монастырях, кинотеатрах, театрах, обращая заработанное в свою пользу, но, возможно, и делясь с непосредственным начальством. Так, в батальоне Финляндского полка таких певчих было 150 человек, в батальоне Семеновского полка – 165, Егерского – 60, Измайловского – 120, из которых половина жили на квартирах и занимались частными делами. Некоторые из хористов-певчих и жили прямо по месту нового служения – в Александро-Невской лавре, в Афонском и Старо-Афонском подворье. Порою они и одевались то в монашеские одеяния, то в штатскую одежду, и лишь иногда – в военную форму. В ряде батальонов дело дошло до официального набора певчих и мальчиков из состава батальонов для певческой деятельности. Такой контракт был заключен, например, Романовской церковью с батальоном Литовского полка. Такой же договор на 9 тыс. рублей подписали 30 певчих Павловского полка. С просьбой о обязательном участии в богослужениях в церкви большого Царскосельского дворца обращался к командиру запасного батальона 4-го стрелкового полка начальник Царскосельского дворцового управления. Из переписки видно, что певчие батальона пели в лазарете Красного

Креста, а также частью в придворной церкви Знамения. При этом в действительности певчие придворной капеллы просто были прикомандированы к полку²⁵.

Активное участие артисты и хористы гвардейских полков принимали в спектаклях и службе в императорских театрах. Отношения театральной столицы и гвардейских частей имели давнюю традицию. Зачинателями являлись гвардейцы-измайловцы, еще в 1884 г. создавшие офицерское общество «Измайловский досуг». Его целью было «сплотить воедино полковую семью посредством обмена мыслей и мнений». Деятели «Досуга» предлагали нести в армию идеи «доблести, добра и красоты», оплести «меч с лирою»²⁶. Активным членом, а затем и председателем «Измайловского досуга» являлся великий князь Константин Константинович (К. Р.). На посту Главного начальника, а затем генерал-инспектора военно-учебных заведений он проводил подобные идеи в программе воспитания будущих офицеров в духе «гуманизации» кадетских корпусов²⁷. В 1909 г. силами «Измайловского досуга» была поставлена драма «Мессиянская невеста» в переводе К. Р. 29 января 1909 г. спектакль был повторен для царя в Императорском Китайском театре в Царском Селе. Наибольший успех «Измайловского досуга» пришелся на 1914 г., когда был поставлен спектакль «Царь Иудейский» по одноименной драме К. Р. Цензура не позволяла ставить пьесы с событиями библейской истории. Однако исключение было допущено для «Измайловского досуга» как любительского театра. Все расходы по постановке пьесы по велению царя взял на себя Кабинет его Величества, а директору Императорских театров В.А. Теляковскому был данo распоряжение выдавать ассигновки на все расходы, составившие 43 тыс. руб. Мало этого: в постановке пьесы принял участие Придворный оркестр. Именно в ходе этой постановки началось тесное сотрудничество между деятелями «Измайловского досуга» и театральными и музыкальными деятелями столицы. Так, музыку для драмы написал А.К. Глазунов. В самое же пьесе кроме чуть ли не всех офицеров Измайловского полка приняли участие артистки Александринского театра М.А. Ведринская и Е.И. Тиме, Малого (Суворинского) театра, ученицы Драматических курсов, кордебалет Марининского театра с сольным выступлением балерины Шоллар, церковный хор князя Иоанна Константиновича. Декорации для спектакля написал художник П.К. Степанов, костюмы шились в костюмерной мастерской Императорских театров по эскизам художника Н.А. Клименко. «Царь Иудейский» был дан 9 января 1914 г. на сцене Императорского Эрмитажного театра в присутствии царя и 26 членов Императорского дома. С этого дня

«Измайловский досуг» стал известен всему культурному Петербургу и даже шире. Спектакль был повторен для представителей русской и иностранной прессы, а затем для членов Императорской Академии наук²⁸.

Такое сотрудничество гвардейских частей и театров Петербурга распространилось и на другие полки, являлось важной частью жизненного мира гвардии наравне с почетными караулами и обязанностями по охране порядка в столице империи. Как и в случае с певчими столичных храмов, участие гвардейских артистов закреплялось контрактами. Например, артисты Финляндского полка в течение нескольких лет выступали на сцене Мариинского театра, причем в 1909 г. сам царь поддержал участие хора полка в спектаклях в императорских театрах. Как и ранее, такое разрешение на участие артистов Финляндского полка было получено в конце 1916 г.²⁹

Особенно крупное участие гвардейских хоров, артистов пришлось на новогодние и рождественские праздники 1917 г. Командир запасного батальона Измайловского полка в январе 1917 г. просил разрешить его нижним чинам в свободное от службы время участвовать в спектаклях императорских театров, Балетной и драматической труппе, а также оркестре музыкальной драмы Малого театра. С помпой готовились отпраздновать зимой 1917 г. 100-летие участия оркестра Кексгольмского полка на сцене Мариинского театра. Причем в качестве спектакля была избрана опера «Фенелла» («Немая» – «La muette de Portici») с участием М.Ф. Кшесинской. Чтобы разрешить играть актерам музыкальной драмы, состоящим в гвардейских запасных батальонах, пришлось вновь заручиться поддержкой самого царя. В другом случае за разрешением симфоническому оркестру Преображенского полка принять участие в русском Симфоническом концерте в зале консерватории обратился профессор консерватории А. Глазунов. Композитор уточнял при этом, что репетиции будут платными.

Как только вопрос получил финансовую базу, это значительно продвинуло дело разрешения участия артистам-гвардейцам запасных частей в многочисленных развлекательных мероприятиях столицы. Так, струнному хору Преображенского полка обещали за участие в концерте дать 1500 руб., из которых часть назначалась в пользу полкового работно-инвалидного дома, а часть – в пользу Дамского лазарета. Широкая программа с участием 2-го музыкантского хора запасного батальона Преображенского полка ожидалась на концертах, устраиваемых в Зале армии и флота еженедельно в новогодние и рождественские праздники (4, 11, 18 и 25 января и

8 и 22 февраля 1917 г.) герцогиней Лейхтенбергской и генеральшей Раевской с отнесением части сбора в пользу работно-инвалидного дома Преображенского полка. Не забыт был и оркестр запасного батальона Волынского полка, который принимал участие в благотворительном концерте в Александровском зале городской думы. Сбор поступал на устройство офицерского санатория имени павших на поле брани. Поступил запрос от театрального товарищества «Палас-Театр» В.А. Кошкина и администратора Л.Л. Людомирова на участие в благотворительных спектаклях в пользу георгиевского комитета, организации «Артист – солдату», лазаретов для раненых воинов и других благотворительных учреждений, связанных с нуждами войны. От театра Панаевской, где служило 300 человек артистов, музыкантов и рабочих, поступил запрос на участие артистов из гвардейских батальонов, со ссылкой на подобное разрешение для артистов частных театров музыкальной драмы, театра А.С. Суворина и Народного дома. Концерты гвардейцев использовались и прямо «для усиления своих средств». Например, в рождественском вечере в зале Калашниковской биржи под названием «Древнерусское игрище» перед началом «игрища» и в антрактах просили принять участие полный оркестр Павловского полка. Солдаты запасного батальона Гренадерского полка должны были принимать участие в спектаклях театров музыкальной драмы и Народного дома. Для этого испрашивалось право находиться на репетициях вместо продолжения учебы в полку. Запросы на участие артистов-гвардейцев поступили от Всероссийского общества артистов варьете и цирка и т. п.³⁰

Некоторые батальоны уже в начале 1917 г. строили планы на игры в публичных увеселительных местах летом 1917 г. в курортных пригородах столицы. Так, в Павловский вокзал был приглашен играть оркестр запасного батальона 1-го стрелкового полка, чем продолжал традицию таких выступлений с 1886 года. От артистов хора запасного батальона Московского полка поступил запрос на частную игру в публичных увеселительных заведениях по Финляндской железной дороге в продолжение летнего сезона, в частности в саду Шантеклер в Озерках. Командир запасного батальона Волынского полка настаивал на разрешении играть оркестру полка в курзале Сестрорецка в течение летних месяцев для оплаты (в размере 7 тыс. руб.) инструментов, пропавших при отступлении из Варшавы, а также при немецких погромах в Москве в мае 1915 г. Подобная же просьба поступила фактически в те же дни и от командира запасного батальона Измайловского полка на участие в музыкальных выступлениях в том же сестрорецком курорте летом

в «поддержку в святом деле увековечения памяти усопших героев – чинов полка – устройством склепа и установкой мраморных досок с фамилиями нижних чинов – георгиевских кавалеров, и с фамилиями всех чинов, за веру, царя и отечество на поле брани живот свой положивших». Предполагалось из заработанных оркестром денег произвести отчисления в фонд капитала на создание в будущем Измайловского инвалидного дома для нижних чинов полка – участников настоящей войны³¹. Такая просьба может быть примером попыток сохранить память об ушедших из полка товарищах, остававшихся частью жизненного мира гвардейцев.

Давали концерты гвардейские артисты, как и артисты других столичных запасных частей, для собственного контингента. Правда, это вызывалось внутренними для частей причинами. Так, в 1916 г. командир батальона Измайловского полка полковник П.В. Данильченко, известный и ранее как любитель театра и организатор «измайловских досугов»³², для искоренения самовольных отлучек и «бесцельного шатания по городу в праздники» организовал театр, в который были привлечены лучшие артистические силы Петрограда. На сцене ставились пьесы патриотического и бытового содержания. На каждом спектакле присутствовало не менее 3 тыс. нижних чинов. Этот «благий почин» поддержали и другие запасные батальоны, обзаведшиеся почти все театрами и кинематографами. Деятельность Данильченко была настолько высоко оценена, что Чебыкин направил ходатайство инспектору запасных частей гвардии отложить посылку Данильченко в действующий полк для отбытия ценза командования батальоном. Другая проблема – репертуар, который мало соотносился переживаемому времени. Так, в батальоне Гренадерского полка была дана оперетта «В волнах страстей», «исполненная лучшими силами опереточных артистов, отбывающих воинскую повинность». Такой репертуар артистов-гвардейцев возмутил даже заместителя начальника гвардейских частей Павленкова, потребовавшего, чтобы для участия в спектаклях приглашались только нижние чины, а репертуар их должен соответствовать слушателям и данному времени³³.

Кроме концертной деятельности была и другая, явно нелегальная деятельность запасников-гвардейцев. Порою многие из них вообще оказывались в гвардейских полках, как полагали их сослуживцы, по «блату». Так, некий солдат В. Набережных первоначально служил в Вологодской пешей 86-й дружине, а затем «за деньги» был переведен в лейб-гвардии Саперный батальон. Другой ратник 1-го разряда, сын богатого холмогорского купца Николай Батраков, в январе 1915 г. был принят на службу и отправлен в запасной

батальон Павловского полка. Однако по прибытии в Петроград он оказался на службе в главной полевой почтовой конторе. При попытке его перевести в маршевую роту выяснилось, что Батраков оказался теперь в отпуске на родине... Для выяснения местонахождения Батракова пришлось обращаться (уже в августе 1916 г.) в Вологодскую местную бригаду, к заместителю начальника штаба Петроградского военного округа Л.О. Сирелиусу и самому начальнику частей гвардии Чебыкину³⁴. В одной из анонимок указывалось, что «много таких за деньги прятаются в разные места, например, при больницах, лазаретах и красном кресте, говорят, что некоторые совсем не служат, а только числятся и свои дела делают»³⁵. Именно эти солдаты использовали свое нахождение в Петрограде как «социальный лифт». Так, в штаб поступили сведения из нестроевой команды Егерского полка на солдата Б.К. Воробьева, которого видели в штатском платье. Ефрейтор учебной команды запасной автороты профессиональный наездник А.Н. Сорокин использовал своей нахождение в запасном батальоне для участия в лошадиных бегах. Поступали сообщения о подобном поведении других военнослужащих. Солдат И.П. Барышников почти ежедневно по утрам выезживал лошадей князя Вяземского, а также участвовал в бегах в качестве наездника. Другой служивший в запасном батальоне Семеновского полка профессиональный наездник Д.Д. Романов занимался выездкой рысистых лошадей, принадлежавших одному из полковников полка, а в беговые дни выступал наездником на Семеновском плацу. Другие нижние чины запасного батальона Измайловского полка ратники ополчения Стрелков и Левандовский, проживавшие на частных квартирах, носили штатское платье и выступали в кинематографах в качестве артистов и т. п.³⁶ Трудно поверить в неведение начальства о подобных фактах.

Некоторые военнослужащие сумели и вовсе развернуть крупную деловую деятельность. Так, старший унтер-офицер запасного батальона Семеновского полка П. Мелькер, состоя старшим в команде нижних чинов при офицерском флигеле, имел в своем ведении команду рабочих, выполнявшую в батальоне различные ремонтные работы. Мелькер до войны был десятником, выполнял ответственные строительства, обладал деловой сметкой. Теперь, оказавшись в Петрограде, он смог развернуться всюю: арендовал частную квартиру для пересдачи ее своим знакомым, вложил крупную сумму (12 тыс. руб.) на покупку кинематографа, вошел в контакты с начальством для производства различных работ, за что получал подарки, получал он подарки и от нижних чинов, возвращавшихся из отпусков³⁷.

Но и полковое начальство запасных гвардейских частей не упускало возможности использовать деловую хватку гвардейцев. Так, начальник хозяйственной части батальона Егерского полка узнал, что среди нижних чинов есть рыболовы, уроженцы Астраханской губернии, хорошо знающие условия рыболовства. Возникло предположение об образовании из нижних чинов батальона, уроженцев Астраханской губернии, специалистов-рыболовов, особой рыболовной команды для лова рыбы в Каспийском море. Для этого была организована командировка ряда служащих полка. Возвратившиеся из нее доложили о том, что сумели завести знакомства среди рыбопромышленников для продвижения проекта. Одним из таких дельцов в Астрахани оказался крупный рыбопромышленник О.Г. Агабабов. Не мешкая, он сразу предложил посланцам-гвардейцам подписать проект о создании специальной рыболовной команды. Как выяснилось в Астрахани, рыболовная команда от Егерского полка оказалась не единственной. Шесть пехотных запасных батальонов уже осуществляли лов на хозяйственной основе. Формально команды ловили рыбу для потребностей батальонов. Однако избыток, превышающий их потребность, продавали по весьма выгодным ценам частным лицам или хранили в запасах, достигших десятков тыс. пудов. По существу, таким образом обходился запрет на участие военнослужащих в работах частных предприятий. Что касается батальона Егерского полка, то дело здесь было поставлено на широкую ногу, подключены были самые высокие лица из командования войск гвардии. Кроме этого, в том же батальоне «по искони существующему обычаю» производились работы рабочими-военнослужащими для офицеров, даже бывших. Начальство (Чебыкин) «не считали правильным посылку нижних чинов, как рабочих, «в частную квартиру», однако фактически смотрели на это сквозь пальцы, если это не приводило к огласке или инцидентам³⁸. Так уживались представления о полковых традициях с требованиями военного времени.

Повседневность гвардии соприкасалась с другими социальными группами и корпорациями в городе. Важнейшим из них был мир дезертиров. Предположительно в городе их находилось несколько десятков тысяч. Значительное количество дезертиров давали запасные части самого гарнизона: 2–7% личного состава некоторых пехотных и 0,1–0,2% гвардейских частей были в бегах³⁹. Несмотря на то что этот жизненный мир дезертиров был временным, он постоянно обрастал выразительными чертами. Еще в 1914 г. имели место множество самовольных отлучек нижних чинов из гвардейских частей на театре военных действий. Убежав (часто на время

боев) из одной части, они примыкали к другой. Это происходило благодаря полной безнаказанности совершавших побег, так как действующие полки принимали беглых нижних чинов без всяких документов. Далее они писали письма своим товарищам о благополучном прибытии их в новый полк с точным указанием полка и эскадрона, чем еще более увеличивали число самовольно уходящих на войну. Попытки вернуть бежавших заканчивались ничем⁴⁰. К 1916 г. почти все дезертиры имели за собой преступное прошлое. Как правило, будучи пойманы в столице полицией или военными патрулями, они направлялись в запасные пехотные полки и уже там их судили. Дезертиры в таких полках образовывали специальную роту для беглых – 16-ю. Туда же направляли вообще всех дезертиров: с фронта, из гарнизона, со сборных пунктов. Находясь в таких ротах, дезертиры широко обменивались своим опытом ухода от войны. Многие из них вновь совершали побег. Попав на фронт, они вскоре снова дезертировали, а после ареста попадали в роты беглых. Из рот беглых они направлялись в маршевые роты, из которых вновь устраивали побег. Тем самым происходил обмен опытом дезертирства уже с обычными солдатами. Такому общению способствовала система отправки дезертиров в армию без конвоя⁴¹. Даже штрафы, осуждения не пугали дезертиров. Будучи на фронте, они легко получали прощение за свою вину. Фронтное начальство предлагало в связи с этим не посылать дезертиров на фронт, на что не могло пойти тыловое начальство, как раз пытаясь избавиться от дезертиров, в том числе и в связи с мобилизационными планами. В реальности дезертиры надолго задерживались в тылу, продолжали соблазнять других, видя свою безнаказанность.

Некоторые стороны жизненного мира дезертиров воспроизводили привычные традиции и обычаи корпораций в своей среде. Так, ратник батальона Гренадерского полка И. Гусаров, сбега из части, постоянно возвращался добровольно, что трактовалось начальством как признание своей вины, нежелание мараить честь батальона, и одновременно избавляло бежавшего от строгого наказания. Этому примеру последовали и другие дезертиры в гвардии. Особенностью гвардейцев-самовольщиков было то, что они придумывали себе замысловатую легенду во время своего отсутствия из части. Например, солдат Бураков при допросе назвался дворянином Тульской губ. Б.К. Вельяминовым. Некоторые из побегов гвардейцев осуществлялись даже из гауптвахты, явно по сговору. Дезертиры чувствовали себя вольготно в Петрограде, делили районы проживания, даже выясняли между собой сложные отношения с помощью револьверов и ножей. При этом дезертиры из гвардии

никогда не были задерживаемы за недостойными занятиями – например, прошением милостыни, чем не гнушались беглецы из запасных пехотных батальонов⁴².

В целом дезертиры являлись той средой, которая больше всего способствовала уничтожению особенности, замкнутости жизненного мира гвардии. Объединению дезертиров разных полков способствовало то, что они часто проживали у одного из общих родственников в самом Петрограде⁴³. Но главное – дезертиры имели бесчисленные контакты с частями гарнизона, городскими низами, преступными элементами, и при этом не порывали связи со своими частями. В этом случае они выступали в качестве провокаторов, по типу «революционных» рабочих-забастовщиков, «снимавших» своих товарищей, не оставлявших работу.

Гвардейское начальство хотя и принимало меры против нарушителей воинской службы, но часто при этом не желало ставить под вопрос сложившиеся формы жизни своей корпорации. Это проявлялось в политике судопроизводства в гвардейских частях. Обычно дезертиров переводили в запасные пехотные части и там судили⁴⁴. Если же это нельзя было сделать, то начальник гвардейских частей Н.А. Чебыкин обычно противился направлению дезертиров в военно-полевой суд, предпочитая ему военно-окружной суд, где следствие и судопроизводство задерживалось на длительное время⁴⁵. По всей видимости, такая позиция могла иметь место в условиях борьбы между штабом Северного фронта и Военным министерством за подчинение Петроградского военного округа, включая и гвардейские запасные части⁴⁶.

Ситуация с преследованием дезертиров в гвардии изменилась только с переходом Петроградского военного округа в ведение Военного министерства в начале февраля 1917 г. Вскоре и наказания за самовольные отлучки значительно усилились: за них теперь стали давать очень большие сроки: 10–12–16 лет каторги⁴⁷. В запасных батальонах такое ужесточение наказаний было расценено как нарушение сложившегося статус-кво, что, возможно, стало одной из причин недовольства, приведшего к выводу гвардии из повиновения.

Повседневность гвардии в годы войны столкнулась с повседневностью других элит, корпораций, занимавших прочное место в столичном городе, как до войны, так и во время нее. Важнейшими из таких корпораций были охранные структуры: жандармы, городовые, дворники. Обостренная, конфликтная ситуация ощущалась, правда, не в самой гвардии на службе, а офицерами гвардии, бывшими в отпусках или увольнительных, или даже на службе, но не

при исполнении обязанностей. Однако именно на гвардию переносилось недовольство городского населения, уставшего от военных тягот, виновниками которых они считали всех военных. Военнослужащие рассматривали городских и жандармов как уклоняющихся от военной службы; со своей стороны, городские и жандармы не считали самую видимую часть офицерского контингента – прапорщиков – за настоящих офицеров. Конфликты усугублялись и тем, что прапорщики пытались защитить свой статус не только в военной, но также и в своей, корпоративной, гвардейской иерархии. Не случайно, что свои уличные подвиги (например, избивание извозчиков, городских и т. п.) офицеры-гвардейцы не стеснялись представить на суд сослуживцам, ожидая найти у них понимание в рамках корпоративной чести⁴⁸. Напряженность между силовыми группами в городе усиливалась также и тем, что гвардия нарушала сложившуюся иерархию в городе (городские являлись ответственными за порядок в столице). Все это приводило к множеству конфликтов, порою заканчивавшихся столкновениями сил правопорядка с офицерами и солдатами гвардии с применением оружия⁴⁹.

Угроза для основ повседневности гвардии возникала и в самих ее рядах. Так, среди гвардейцев, назначенных на передовую и готовившихся к назначению в маршевые роты, было сильное недовольство частью гвардейцев, не выполнявших строевые обязанности. Особенное недовольство вызывали музыканты, получившие как бы официальное назначение не заниматься строевой подготовкой. В многочисленных жалобах гвардейцы-маршевики указывали на «несправедливость, которая допускается по отношению к нам, ратникам», подчеркивали, что «не должна быть сделана разница между защитниками родины»⁵⁰. В анонимке солдат батальона Гренадерского полка содержалось требование послать всех на фронт: «Да разве отбывание воинской повинности и долг перед отечеством состоит в исполнении своих обязанностей как артистов?» В жалобе содержалось требование «очистить наши запасные батальоны Петрограда от укрывающихся и жаждущих чаяния вод»⁵¹.

Однако самая сильная угроза принципам жизненного обустройства гвардии имела место при попытке использовать дезертиров для наведения порядка на улицах столицы, причем главным образом среди тех же военных. Для этого в 1916 г. были организованы военно-полицейские команды для патрулирования на центральных улицах и площадях города, трамвайных линиях, на вокзалах. Практически все военно-полицейские команды были организованы от гвардии, батальоны которой и располагались в центре города⁵². Тем самым кардинально изменился смысл деятельности этих элитных

частей, ответственных за порядок в городе. Это означало противопоставление авторитета гвардии как элитной части интересам горожан, нелегальным элементам из среды военных (дезертирам, уклоняющимся от военной службы и т. п.). Деятельность военно-полицейских команд вызвала серьезное противодействие обывателей, собиравшихся толпами при облавах на дезертиров. Она породила даже раскол в среде самих военных, вплоть до нападения казачьих разъездов на патрули, конвоировавшие задержанных солдат⁵³.

Особенно напряженная ситуация образовалась на центральных городских улицах с трамвайным движением, которое дезертиры использовали для бесконтрольного перемещения по городу. Солдаты резко протестовали против новых «трамвайных правил», рассматривая их как «издевательство над нижними чинами и унижение воинского звания». В трамваях постоянно происходили стычки военных, кондукторов с солдатами и дезертирами. Сами солдаты саботировали правила трамвайного движения, не платили за проезд, отказывались подчиняться требованиям военных патрулей, вступали в драки с кондукторами. Во время трамвайных конфликтов происходили постоянные задержки трамвайного движения, что увеличивало скопление публики до нескольких тысяч человек, парализовало центр города. Действия патрулей вызывали сильное недовольство публики. Пассажиры выступали против высадки солдат («героев» и «фронтовиков», по мнению пассажиров). Солдаты, большей частью дезертиры, в свою очередь искали поддержки у пассажиров, которые прятали их внутри вагонов. Во время этих инцидентов шла критика пассажирами, кондукторами самих членов военно-полицейских команд, их оскорбления («семикопеечники», «задержали своего брата» и т. п.). Пассажиры отказывались быть свидетелями при задержании солдат, требовали составления протоколов против полиции и конвоиров-гвардейцев. Конвоирование патрулями солдат в участки сопровождалось протестами многочисленной публики. Происходила откровенная агитация со стороны задержанных (солдат, граждан) среди военных на улицах и даже в самих полицейских участках. Нередкими были призывы к прямому бунту, освобождению задержанных, разгрому участков и т. п.⁵⁴

Накануне Февральской революции гвардейские части оказались в центре серьезных противоречий, возникших в деле мобилизации подготовительных сил для фронта. С одной стороны, усиливались требования в деле их обучения, что было трудно выполнить при наличии данного состава новых пополнений. С другой стороны, наличие в гвардии привилегий нарушало ее единство как

корпорации. Использование же гвардии в борьбе с нарушителями воинской дисциплины в городе столкнуло ее не только с массой дезертиров, но и с многочисленной «публикой», представлявшей собой городские низы, видевшие именно в гвардейцах выразителей ненавистной системы, гнавшей их на нескончаемую войну и обрекавшей на многочисленные тяготы и нехватку предметов первой необходимости. Утрата гвардией особого положения, высокого статуса, уважения в городе явилась важнейшей причиной ее склонности к солдатскому бунту, закончившемуся революцией. Такая революция в значительной мере восстанавливала основания жизненного мира гвардии: элитность и привилегии в виде права на оставление в столице в качестве «гарантов» революции, уважение среди горожан как ее зачинателей, наконец, целостность внутреннего мира всех групп гвардии. Оставалось только вписать вновь обретенные основания повседневности в новый другой мир, представлявшийся как развитие революции.

Примечания

- ¹ В политике творится нечто невероятное: Документы ГАРФ о Февральской революции 1917 г. Документ 2: Из воспоминаний полковника Д. Ходнева. «Февральская революция и запасной батальон лейб-гвардии Финляндского полка» // Альманах «Россия XX век». 2008 [Электронный ресурс] URL: <http://www.alexanderyakovlev.org/almanah/inside/almanah-doc/71770> (дата обращения: 23.06.2017); далее: Из воспоминаний полковника Д. Ходнева... *Чапкевич Е.И.* Русская гвардия в Февральской революции // Вопросы истории. 2002. № 9. С. 3–4.
- ² *Волкова И.В.* Солдатский бунт и Февральская революция 1917 г. // Гуманитарные научные исследования. 2011. № 1 [Электронный ресурс]. URL: <http://human.snauka.ru/2011/09/752> (дата обращения: 06.11.2016).
- ³ В литературе есть ошибочные утверждения, согласно которым в гвардейских запасных батальонах находилось по 15–20 тыс. чел., что уже делало бы эти батальоны «неуправляемыми» в дисциплинарном отношении. См.: *Айрапетов О.Р.* Участие Российской империи в Первой мировой войне (1914–1917). Т. 4: 1917 год: Распад. М.: Кучково поле, 2015. С. 57. См. также расчеты количества рот и солдат в гвардейских полках: *Данильченко, полк. (П.В.)* Для истории Государства Российского: Роковая ночь в Зимнем дворце 27 февраля 1917 г. // Военная быль. [Париж,] 1974. № 176. С. 4.
- ⁴ РГВИА. Ф. 2013. Оп. 1. Д. 17. Л. 22; Ф. 16071. Оп. 1. Д. 148. Л. 122.
- ⁵ Там же. Ф. 1343. Оп. 2. Д. 258. Л. 205об.; Оп. 10. Д. 1728. Л. 214; Ф. 7699. Оп. 1. Д. 6. Л. 136.

- ⁶ Там же. Ф. 16071. Оп. 1. Д. 107. Л. 15–18.
- ⁷ Там же. Ф. 2013. Оп. 1. Д. 17. Л. 22; Ф. 16071. Оп. 1. Д. 148. Л. 122; Ф. 1343. Оп. 2. Д. 258. Л. 205об.; Оп. 10. Д. 1728. Л. 214; Ф. 7699. Оп. 1. Д. 6. Л. 136.
- ⁸ Великая Октябрьская социалистическая революция: Энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1987. С. 396.
- ⁹ РГВИА. Ф. 16071. Оп. 1. Д. 120. Л. 75, 77. Л. 79–80, 293, 384, 413, 427.
- ¹⁰ Там же. Д. 107. Л. 86–86об.
- ¹¹ Там же. Д. 106. Л. 477, 481, 488, 494, 498 и др.; Д. 107. Л. 22–23об., 32–32об.
- ¹² Там же. Д. 129. Л. 247–247об.; Д. 106. 31об.; Ф. 1343. Оп. 2. Д. 244. Л. 51–52.
- ¹³ Там же. Д. 106. Л. 266–266об.; Д. 225. Л. 82. Л. 106–107об.; Ф. 1343. Оп. 8. Д. 23. Л. 16об.
- ¹⁴ *Данильченко, полк (П.В.)*. Указ. соч. С. 4.
- ¹⁵ *Тихомиров А.В., Чапкевич Е.И.* Русская гвардия в первой мировой войне // Вопросы истории. 2000. № 9. С. 37.
- ¹⁶ *Волкова И.В.* Указ. соч.
- ¹⁷ РГВИА. Ф. 7699. Оп. 1. Д. 6. Л. 56об.; Ф. 7868. Оп. 1. Д. 161. Л. 2.
- ¹⁸ Там же. Ф. 2013. Оп. 1. Д. 13. Л. 120; Д. 17. Л. 29.
- ¹⁹ *Данильченко, полк (П.В.)*. Указ. соч. С. 5.
- ²⁰ РГВИА. Ф. 499. Оп. 3. Д. 1507. Л. 11; Оп. 13. Д. 1166. Л. 44, 32; Ф. 2006. Оп. 1. Д. 32. Л. 55–55об.; *Гончаренко О.Г.* Три века императорской гвардии. М.: Вече, 2006. С. 149–151.
- ²¹ РГВИА. Ф. 16071. Оп. 1. Д. 106. Л. 25–27об.
- ²² Там же. Ф. 2013. Оп. 1. Д. 13. Л. 29–29об., 165, 166, 173–173об.; Ф. 16071. Оп. 1. Д. 107. Л. 380–384.
- ²³ *Тихомиров А.В., Чапкевич Е.И.* Указ. соч. С. 37.
- ²⁴ РГВИА. Ф. 2013. Оп. 1. Д. 18. Л. 56–57; Ф. 16071. Оп. 1. Д. 106. Л. 60–60об., 224–228; Ф. 1343. Оп. 10. Д. 2808. Л. 82об.–83об., 97об.–98; Д. 2840. Л. 192, 211.
- ²⁵ Там же. Ф. 16071. Оп. 1. Д. 107. Л. 87–89об.
- ²⁶ *Г. Др.* Измайловский досуг // Военная быль. [Париж,] 1972. № 116. С. 14.
- ²⁷ *Чадаева А.* Августейший поэт: Великий князь Константин Константинович. М.: Вече, 2013. С. 225–227.
- ²⁸ *Г. Др.* Указ. соч. С. 13–18.
- ²⁹ РГВИА. Ф. 2013. Оп. 1. Д. 13. Л. 107, 109об., 111, 119.
- ³⁰ Там же. Л. 95–97, 102, 103, 107, 109об., 111, 119, 123–125, 127, 157, 161, 186, 187; Ф. 16071. Оп. 1. Д. 161. Л. 4–5, 45; Из воспоминаний полковника Д. Ходнева...
- ³¹ РГВИА. Ф. 2013. Оп. 1. Д. 13. Л. 129, 130, 183–185, 193–193об.
- ³² *Г. Др.* Указ. соч.
- ³³ РГВИА. Ф. 2013. Оп. 1. Д. 13. Л. 432; Ф. 16071. Оп. 1. Д. 107. Л. 432–432об., 566об.
- ³⁴ РГВИА. Ф. 16071. Оп. 1. Д. 107. Л. 156–157об.
- ³⁵ Там же. Л. 503.
- ³⁶ Там же. Л. 244–245, 498–499.

- 37 Там же. Л. 633–634.
- 38 Там же. Л. 142–149об.
- 39 РГВИА. Ф. 1343. Оп. 2. Д. 238. Л. 402–402об.; Ф. 7699. Оп. 1. Д. 8. Л. 66.
- 40 Там же. Оп. 10. Д. 9127. Л. 11–11об.
- 41 РГВИА. Ф. 1346. Оп. 10. Д. 2846. Л. 89–90.
- 42 РГВИА. Ф. 1343. Оп. 2. Д. 257. Л. 77об.; Оп. 8. Д. 23. Л. 27об.; Оп. 10. Д. 9127. Л. 65–65об.; Ф. 7699. Оп. 1. Д. 201. Л. 154; Ф. 16071. Оп. 1. Д. 129. Л. 123–124; Д. 225. Л. 82.
- 43 Там же. Оп. 10. Д. 2846. Л. 31–32.
- 44 Там же. Оп. 2. Д. 252. Л. 133; Д. 256. Л. 156–156об.
- 45 Там же. Ф. 16071. Оп. 1. Д. 225. Л. 68об.–69, 72–73, 75, 76–76об., 82, 109, 110, 110об., 112–112об.
- 46 Там же. Ф. 2032. Оп. 1. Д. 297. Л. 111–111об., 121–122, 125; Ф. 2031. Оп. 2. Д. 553. Л. 245–246.
- 47 Там же. Ф. 1343. Оп. 8. Д. 23. Л. 14–16об., 64–68.
- 48 Там же. Оп. 2. Д. 257. Л. 36–38, 41, 42, 47об.
- 49 Там же. Д. 252. Л. 44, 44об., 115об., 299, 299об.; Ф. 16071. Оп. 1. Д. 107. Л. 62–62об.
- 50 Там же. Ф. 16071. Оп. 1. Д. 161. Л. 237, 256.
- 51 Там же. Д. 107. Л. 56об., 87, 88–90об.
- 52 Там же. Оп. 10. Д. 2812. Л. 4об., 5об., 33–34; Д. 2805. Л. 40–40об.
- 53 Там же. Оп. 2. Д. 257. Л. 12–15.
- 54 Там же. Д. 244. Л. 51–52; Д. 250. Л. 128об.; Оп. 10. Д. 2835. Л. 4.

Ю.Г. Оксман и революция 1917 г.

Научные взгляды и методология выдающегося русского филолога Ю.Г. Оксмана (1895–1970) формировались в предреволюционные и революционные годы. Однако именно этот период его биографии и творчества наименее известен. На основе архивных источников личного происхождения, а также ранних литературоведческих работ показывается, как формировалось восприятие Оксманом революции 1917 г., и выясняется, в какой мере революция повлияла на характер его научных исследований. В статье дается двойное освещение проблемы: ретроспективное, основанное на позднейших мемуарных свидетельствах Оксмана о революции, и синхронное революционным событиям, сохраняющее эффект их непредсказуемости, основанное на его письмах к жене А.П. Оксман 1910-х гг. Показываются философские истоки оксмановской методологии. Ставится проблема «Оксман и формалисты». Научные идеи Оксмана рассматриваются в контексте идеологических и методологических поисков революционной эпохи.

Ключевые слова: Ю.Г. Оксман, революция, филология, формализм, текстология, история.

Весной 1917 г. Юлиан Григорьевич Оксман окончил Петроградский университет. Ему было 22 года. Однако его имя было уже хорошо известно в литературном и филологическом мире Петрограда благодаря плодотворной научной работе, результаты которой уже на протяжении двух лет регулярно появлялись в печати и привлекали к себе внимание научного сообщества. В условиях революционного времени выбор дальнейшего научного, да и жизненного пути во многом зависел от случайного стечения обстоятельств. К сожалению, прямых источников,

свидетельствующих об отношении Оксмана к революции и его политических представлениях 1917 г., у нас нет. Имеются лишь косвенные свидетельства, позволяющие гипотетически реконструировать картину.

Первая группа источников – это научные работы Оксмана, написанные в предреволюционные и революционные годы. Они позволяют судить о становлении его методологии и о его месте в научном сообществе 1910-х гг. Разумеется, из них нельзя извлечь информацию о политических взглядах и пристрастиях их автора. Однако если учесть, что в эти годы в российском литературоведении происходила смена поколений – молодежь, объединившаяся в «Общество по изучению поэтического языка» (ОПОЯЗ), боролась со старыми представителями культурно-исторической школы, – то можно определить место Оксмана в этой борьбе старого и нового, отражавшей революционный перелом культурной эпохи.

Вторая группа свидетельств – это источники личного происхождения. Они делятся на два вида: 1) письма Оксмана, современные революционным событиям, и 2) его мемуарные свидетельства, имеющие ретроспективный характер. Из эпистолярного наследия 1910-х гг., помимо небольшого количества деловых писем и записок, сохранились письма к жене Антонине Петровне Оксман. В них много интересных бытовых подробностей, но очень мало или почти нет прямых политических суждений, раскрывающих отношения автора к революционным событиям. Что касается мемуарных свидетельств, дошедших до нас в виде небольших отрывков или устных высказываний, бережно сохраненных в памяти собеседников позднего Оксмана, то на них, как и на любых ретроспективных оценках и суждениях, лежит отпечаток позднейшего жизненного опыта. У Оксмана это – тяжелый опыт сталинских лагерей, саратовской ссылки, политических преследований 1960-х годов.

О своих детских годах, проведенных в глухом местечке Вознесенске на юго-западной окраине империи, Оксман воспоминал без всякой ностальгии. Сохранившееся автобиографическое начало, открывающееся блоковскими строками (впоследствии зачеркнутыми) – «Рожденные в года глухие // Пути не помнят своего», – строится следующим образом. С одной стороны, Оксман фиксирует собственные детские впечатления и дает их критическое осмысление. С другой стороны, он объясняет свою позднейшую самоидентификацию впечатлениями детства. Затхлая провинциальная атмосфера Вознесенска формировала у ребенка незрелые политические взгляды. Ее неподвижность давала ощущение реальной погруженности в прошлое.

Устные рассказы о прошлом, которые слышал Оксман от своей няни, восходили к 1837 г.¹, когда Николай I присутствовал на больших маневрах под Вознесенском. В семье Оксманов «процветал монархический культ. Мама с благоговением вспоминала посещение Николаевской Мариинской гимназии, в которой она воспитывалась, императором Александром III и его семьей»².

Англо-бурская война (1899–1902), боксерское восстание в Китае (1900) стали первыми сознательными политическими впечатлениями, получившими у пятилетнего Оксмана характер «первых жизненных бравад». Он с иронией вспоминает, как вопреки общественному мнению он не сочувствовал бурям и, наоборот, сочувствовал националистическому движению в Китае, имевшему помимо всего прочего и антироссийскую направленность. При этом он, по собственному признанию, оставался убежденным монархистом, воинствующим националистом и великодержавным шовинистом. Пораженческие настроения, распространявшиеся в русском обществе в годы русско-японской войны, юный Оксман оценивал «как личное оскорбление, как удары по самому близкому и дорогому»³. Начало своего политического созревания Оксман датирует концом 1905 года, видимо, имея в виду серию декабрьских вооруженных восстаний, прокатившихся по стране. Однако речь идет не об усвоении позитивных политических идей, а всего лишь об избавлении от детских «иллюзий незыблемости гражданского мира и надклассовости всех органов государственной власти»⁴.

Приезд в Петербург в 1911 г., поступление на историко-филологический факультет Петербургского университета, арест за участие в студенческих беспорядках, потом год учебы в Гейдельбергском и Боннском университетах – все это быстро расширило и изменило мировоззрение Оксмана. «В голове моей, – вспоминал он, – была смесь разнообразных идей. С одной стороны, мы считали себя революционерами и победоносно, как на обреченных, поглядывали на столпов старого мира; в то же время заветным моим мечтанием было к столетию со дня смерти Александра I написать такую биографию царя, чтобы получить *Аракчеевскую премию* (умирая, “змей” завещал весь свой капитал с большими процентами тому, кто это сделает к 1925 году)»⁵.

Революция и Гражданская война прошли по семье Оксманов, разделив ее на два лагеря, что, впрочем, не сказалось на человеческих отношениях членов семьи, оказавшихся по разные стороны баррикад. Средний брат Николай (1896–1932), «родившийся в год Ходынки, в честь нового царя назван был Николаем». Герой Пер-

вой мировой войны, награжденный пятью георгиевскими крестами, он с юности был увлечен марксизмом, и в июле 1917 г. перешел на сторону большевиков. После Октября сделал блестящую карьеру: командовал фронтом на Кавказе, руководил ЧК во Владикавказе, затем стал крупным партийным функционером из ближайшего окружения Серго Орджоникидзе и С.М. Кирова. Младший же брат Эммануил (1899–1961) в 1914 г. бежал за братом на фронт, но по малолетству был возвращен родителям. Революцию он встретил студентом Киевского университета. В 1919 г. был мобилизован в армию Деникина. Когда их часть перебрасывали под Царицын, в поезде он неожиданно встретился с братом Николаем, который, переодетый в форму белого офицера, пробирался к «своим» на Кавказ. Братья «не узнали» друг друга. Впоследствии этот эпизод, рассказанный Юлианом Григорьевичем Алексею Толстому, послужил источником сцены встречи Рощина и Телегина в трилогии «Хождение по мукам»⁶.

Сам Ю. Оксман разделял революционные устремления эпохи, но вряд ли они имели у него столь же четкую политическую осознанность, как у его брата Николая, который «с ранней юности увлекался социальными идеями, читал марксистскую литературу»⁷. 19 декабря 1955 г. на лекции, посвященной памяти Блока, прочитанной в Саратовском университете, Оксман вспоминал о событиях 1916 г.: «Мы все тогда перестали заниматься наукой. Думали, бредили революцией. Руководства тогда не было даже у большевиков. Ленин далеко. Петроград обезлюдел. Мы строили свои химеры»⁸. Таким образом, ретроспективно выстраивается картина: незрелые монархические взгляды под воздействием революции 1905 г. превращаются в революционные «химеры». Этим явно подчеркивается отсутствие последовательных политических идей и скорее эмоциональное, чем глубоко осмысленное, принятие революции.

Но какие бы политические фантомы ни будоражили воображение юного Оксмана, его никогда не покидало ощущение кровной связи с Россией XIX века, ее культурой и государственностью: «Россия являлась для меня не отвлеченным историко-географическим понятием, а живым и действенным государственным организмом, частью которого я никогда не переставал себя кровно и с гордостью ощущать»⁹. Сохранившиеся письма Оксмана 1910-х гг. существенно дополняют эту общую ретроспективную картину, насыщая ее массой бытовых подробностей и дополняя моментами выбора и непредсказуемости, с которыми неизбежно сталкивается человек, смотрящий в будущее.

Позднейшее признание Оксмана, что в предреволюционные годы он забросил науку и бредил революцией, не получает подтверждения в его письмах. Напротив, 1915, 1916 и 1917 гг. – время интенсивных научных и учебных занятий и серьезных размышлений. Он выступает с докладами на Венгеровском семинаре, посещает поэтические вечера и «профессорские блины». «Таково, – пишет он Антонине Петровне 7 февраля 1915 г., – “настоящее”, программа “будущего”, бесконечная, вплоть до мая, работа, частью интересная, а больше – учебная. Теперь сижу над Белинским: обещал сделать доклад в понедельник, но не успею. К 23 нужно кончить реферат библиографический, а там – Летопись для печати¹⁰, “Московский вестник” – для сборника. Самое гадкое – экзамены под конец»¹¹. А через два месяца, 10 апреля: «На прошлой неделе решил заниматься: вернулся и к науке и к экзаменам. Усиленно принялся за «Моск<овский> вестник» для Биб<лиографического> сборника, прочел доклад “Пушкин и Полежаев”, выдержал 2 экзамена и вообще закружился в своем археологическом водовороте»¹².

Летом 1917 г. по окончании университета Оксман едет в Тирасполь. Провинциальная жизнь прифронтового городка производит на него удручающее впечатление: «...безлюдье, обывательщина и полнейшее непонимание азбучных истин. Представление о политических событиях достойно “Сатирикона”... Так стыдно, Тосенька, за “глубину России”, так понятен развал фронта, безумие людей, у которых нет родины, которые живут только животными инстинктами»¹³. Тираспольский быт располагал к чтению и размышлениям. В этот период Оксмана особенно интересует Франция. С большим интересом он читает французскую публицистику Гейне, а также романы Бальзака и Ж.Б. Луве де Кувре. Чтение этих авторов формировали у Оксмана в разгар революционной поры широту взглядов и, как следствие, нежелание связывать себя с какой-либо из партий: «Всякая узость мне противна не менее чем тебе, стремления к полноте жизни и веры в интерес – во мне даже больше, я не тягочусь самим собою и мелочи жизни давно не отвлекают меня, не потому что я не замечаю их, а от того, что хорошо знаю им цену»¹⁴. «Мелочами жизни» Оксман называет революционную разруху: «В Петербурге теперь очень беспокойно – события под Ригой, голод, безработица, надвигающаяся ежеминутно, грозят новым переворотом. Жить невыносимо трудно – кроме хлеба, который получаю по карточке, я ничего не видел даже съестного, кроме овощей». И хотя «настроение у всех подавленное», полный энергии Оксман погружен в привычную для него работу, дающую ощущение непрерывающейся жизни: «Везде идет прежним

темпом работа, и жизнь ни на минуту не прекращается. Знаешь, родненькая, это очень успокаивает, значит не все еще потеряно, если энергия у людей не утрачена до конца, если в этой атмосфере еще действуют законы инерции»¹⁵. Это письмо, датированное 23 августа 1917 г., писалось в один из напряженнейших моментов. За два дня до этого немцы взяли Ригу. Над Петроградом нависла угроза, генерал Л.Г. Корнилов пытался исправить ситуацию путем государственного переворота и установления военной диктатуры. «Этот месяц будет решающим, и после сентября определится многое...», – писал Оксман в этом же письме. Законы жизненной инерции и возможность продолжать работу позволяют Оксману сохранять сторонний взгляд на происходящие события. Он полностью уходит в архивную деятельность: «Я даже по праздникам целый день сижу у себя в архиве – все-таки отвлечение, пришлось одному справляться с массой дел, руководить перевозкой, двадцатью сотрудниками, десятками служителей, придумывать новые методы и писать проекты дальнейшего направления работы и т. п.»¹⁶.

Научные исследования Оксмана шли в нескольких направлениях, и какое из них станет приоритетным, зависело не только от личных пристрастий ученого, но и от внешних обстоятельств, созданных революцией. В 1950–1960-е гг. Оксман неоднократно в своих письмах и автобиографических заметках обращался к истокам своих научных идей. Внешнюю сторону их формирования составляли немецкие университеты и интерес к европейскому средневековью, затем возвращение в Россию и учеба в Петербургском университете сразу по двум направлениям: филология и история. Русская филология в предреволюционные и революционные годы переживала состояние расцвета и многообразия научных направлений. А.А. Шахматов совершил революцию в области древнерусской текстологии, И.А. Шляпкин заложил научные основы отечественной палеографии, Н.М. Лисовский фактически создал новую научную дисциплину – книговедение. Бурное развитие вспомогательных исторических дисциплин соседствовало с поисками новых методологических путей. Особенно органично это сочеталось в знаменитом пушкинском семинаре С.А. Венгерова. Профессор С.А. Венгеров – непревзойденный знаток библиографии и биографий русских писателей – хоть и не разделял сам, но поощрял в своих учениках интерес к формальной стороне организации текста. Его семинар стал питомником русского формализма¹⁷.

С формалистами Оксмана связывали не только общие учителя и личные отношения. Если говорить о внутренней стороне

оксмановского научного формирования – философских основах его научной методологии, то и здесь обнаруживается немало общего с будущими членами ОПОЯЗа. Их объединял интерес к неокантианству и неприятие материалистической эстетики второй половины XIX – начала XX в. «Лекции и книги проф. А.И. Введенского, – вспоминал Оксман, – проповедовали неокантианство, а потому почти все студенты-филологи были яркими противниками вульгарного материализма, господствовавшего в естествознании начала десятых годов XX в. едва ли не столь же безраздельно, как полвека назад. Содер<жание> новой философии мы знали по Виндельбанду и косо смотрели на тех, кто придерживался Паульсена, Маха и Авенариуса. “Науки о духе”, вслед за Дильтеем и Риккертом (и того и другого мы знали только понаслышке), мы противопоставляли наукам естественным, где еще полностью господствовал материализм 60-х годов...». Вывод, который следовал из этого противопоставления, состоял в том, что «в науках о духе не может быть закономерностей, так как изучается единственное, неповторимое, в естест<венных> науках – массовое»¹⁸.

Провокационную роль сыграло появление в 1913 г. первого тома сочинений А.Н. Веселовского: «Начальные строки его статьи “Из введения в истор<ическую>. поэтику” прозвучали как набат, как сигнал бедствия, как SOS: “История литературы напоминает географич<ескую> полосу, которую международное право освятило как *res nullius*, куда заходят охотиться историк культуры и эстетик, эрудит и исследов<атель> обществ<енных> идей, каждый выносит из нее то, что может по способностям и возможностям, с той же этикеткой на товаре или добыче, далеко не одинаковой по содержанию, относительно нормы не сговорились, иначе не возвратились бы так настоятельно к вопросу: что такое история литературы?”». Ответом на этот вызов стал формализм, занявшийся поисками для литературы ее собственной «географии». Но «формализм, – продолжает Оксман, – удовлетворял далеко не всех. Более близкая самому Веселовскому – “история литературы” есть “история обществ<енной> мысли в образно-поэтич<еском> переживании и выражающих его формулах»¹⁹. Далее Оксман ставит вопрос о Потебне («А Потебня?»).

Здесь, возможно, по ассоциации, Оксман вспомнил раннюю работу Виктора Шкловского «Потебня», написанную в 1916 г. и открывавшую один из «Сборников по теории поэтического языка»²⁰. Потебня, как и Веселовский, противопоставлял идею – «то, что хотел сказать художник» внутренней форме – образу – и внешней форме – словам²¹. Правда, в отличие от Веселовского, считавшего

литературу лишь одним из проявлений общественной мысли, Потебня видел в ней в первую очередь то, что выделяет ее на фоне других, непоэтических, явлений языка. Возражение Шкловского, а за ним и других формалистов вызвало отождествление поэтичности и образности. Этому теоретическому постулату Шкловский противопоставил эмпирическое противопоставление «прозаического» и «поэтического» языков. «Создание научной поэтики, – писал он, – должно быть начато с фактического, на массовых фактах построенного, признания, что существует “прозаический” и “поэтический” языки, законы которых различны, и с анализа этих различий»²².

Оксману, безусловно, импонировал интерес формалистов к «массовым фактам», к стремлению строить теорию на эмпирическом материале, а не философских идеях. Но их установка на элиминирование литературы из других рядов общественной мысли не могла его удовлетворить. И тем не менее Оксман считал, что именно с ОПОЯЗа начинается советское литературоведение: «В 1916 г. вышел первый выпуск “Сборников по теории поэтического языка”. Статьи Виктора и Владимира Шкловских, Л. Якубовича, Е.Д. Поливанова, Б.А. Кушнера. Здесь зародилось и советское литератур<оведение> и пушкиновед<ение> и текстология и источниковедение»²³. Эта фраза, написанная примерно в середине 1960-х годов, насквозь полемична. Она направлена не только против официального советского литературоведения, вычеркнувшего формализм из своей истории, но и против Виктора Шкловского, который в выпущенной в 1964 г. книге «Жили-были» с точки зрения Оксмана искажил историю ОПОЯЗа, выбросив из нее имя Якобсона и не упомянув имени Оксмана²⁴. Полемично и то, что зарождение советского литературоведения Оксман относит не к советской эпохе, и генезис его видит не в марксизме, и даже не в культурно-исторической школе, как это официально было признано, а в первом выпуске трудов ОПОЯЗа.

Конечно, говоря об ОПОЯЗе, Оксман имеет в виду не формализм в узком значении этого слова как парадигму теоретических представлений о литературе, а скорее молодёжную филологическую среду Петроградского университета предреволюционных лет в целом. ОПОЯЗ в данном случае является удобным символом для ее выражения, так как он включал в себя не просто начинающих исследователей с общими для всех них представлениями о литературе, а яркие научные индивидуальности, оставившие след в различных областях отечественной филологии, включая историю литературы, текстологию, источниковедение и т. д.

Но это была ретроспективная точка зрения. Разумеется, в 1916 г. начинающему исследователю и еще студенту Оксману ситуация представлялась иной. Она виделась ему как разнообразие открывшихся перед ним путей научной карьеры. Первый путь, берущий начало в венгеровском семинаре, для Оксмана связан был с изучением пушкинской рецепции европейских сюжетов и мотивов. Его первая печатная работа «Программа драмы А.С. Пушкина о папессе Иоанне»²⁵, представляющая собой доклад, прочитанный на семинаре, имела огромный успех и сразу же сделала его имя известным в петроградском научном мире²⁶. В этой статье Оксман объединил свои интересы к средневековью и пушкинскому творчеству. Его исследование представляет собой реконструкцию пушкинского замысла, проведенную на основе широкого круга европейских источников и пушкинских текстов.

Если интерес молодого Оксмана к теме «Пушкин и европейская культура» не был напрямую связан с революцией, то второе направление его научной деятельности – архивная и публикационная работа – были во многом обусловлены именно революцией, хотя начало ее также относится к дореволюционным годам. К архивным разысканиям Оксман приступил еще в 1914 г. по заданию своих университетских преподавателей. Уже на следующий год С.Ф. Платонов предложил ему внештатную должность научного сотрудника комиссии по описанию Архива Министерства Народного Просвещения. Весной–летом 1917 г. Оксману предстояло сделать выбор между университетской кафедрой и архивом. Прикрепление к кафедре давало возможность получить «отсрочку от воинской повинности», но, видимо, не очень привлекало Оксмана. Это видно из того, что он буквально в последний момент, когда уже получил предписание «явиться к воинскому начальству», оправдываясь «собственной беспечностью», обратился к Шляпкину с просьбой оставить его при кафедре²⁷. 20 мая 1917 г. Оксман был оставлен при кафедре для подготовки к профессорскому званию, что не помешало ему 1 июня поступить штатным «помощником начальника Архива». Одновременно он был назначен чиновником особых поручений при министре народного просвещения²⁸.

Октябрьский переворот практически никак не сказался на архивной работе Ю.Г. Оксмана. Большевицкое правительство поддержало его публикаторскую работу. В мае 1966 г., выступая на юбилее ЦГАЛИ, Оксман вспомнил начало своей архивной работы: «Когда А.В. Луначарский познакомился с архивными материалами, находящимися в подвале, он потребовал возможно скорее подготовить их к печати. И тогда было решено издать первый

советский альманах “Литературный музей”. Это название и тогда странно звучало. Сборник печатался два года: начал он печататься в 1918 году, закончил печататься в 1919 году, а поступил в продажу в 1921 году. Это первый сборник, в котором начиналась моя публикаторская работа. Тогда первый комиссар по делам печати Володарский, этот замечательный деятель Октябрьской революции²⁹, с большим сочувствием отнесся к этому делу»³⁰.

Тогда же, в 1918 г., получив одобрение большевиков, Оксман задумал широкую реорганизацию архивного дела. Он планировал создание единого цензурного архива, в который должны были войти «все разбросанные во многих еще местах цензурные дела», а также открыть при таком архиве «специальную цензурную библиотеку. В эту библиотеку должны влиться все книги, которых касалась рука цензора: архивное дело, оторванное от цензурированной книги, неполно»³¹.

Работа Оксмана с делами цензурного комитета открыла новую перспективу изучения текстов русской классики и истории русской литературы в целом. Даже его товарищи по венгеровскому семинару и формалисты исходили из представления о тексте как о чем-то изначально данном. Текстологическая работа, по сути, сводилась к чтению рукописей, а прижизненные публикации почти автоматически признавались выражением авторской воли. Для Оксмана текст, прошедший цензуру, как правило, имел уже повреждения, вызванные внешним вмешательством, и его публикация не выражала или выражала не полностью авторскую волю. Под цензурой Оксман понимал не только соответствующее учреждение, но и так называемую автоцензуру, когда автор сознательно идет на компромисс, чтобы сделать текст приемлемым для цензора. В этом случае авторская воля также находится под внешним воздействием. И даже для произведений «неподцензурной» литературы, распространяемых в XIX в. в списках, понятие «окончательный текст» весьма условно, прежде всего из-за множества случайных и неслучайных искажений, вносимых переписчиками.

Таким образом, текстолог погружен в мир испорченных текстов. Текст – это не то, из чего нужно исходить, а то, в чем нужно сомневаться. Поскольку искажения зависят от массы факторов и в целом имеют случайный характер, то и текстология, строго говоря, изучает не закономерные процессы, а случайные явления, и в этом отношении, как считал Оксман, она не является наукой, так как «не отвечает основному критерию, определяющему сущность той или иной самостоятельной научной дисциплины, не вскрывает объективные законы развития природы или общества, не изучает

объективно-истор<ических> закономерностей»³². Текстологи – не просто ученые, располагающие соответствующим инструментарием, а «люди большого опыта, достигшие в своей личной практике предельного мастерства, ювелирной техники работы»³³.

И хотя формально текстология относится к вспомогательным дисциплинам, для Оксмана она имела большое общественное значение, так как ее результаты предлагались широкому кругу читателей в виде выверенных и точно воспроизводимых литературных текстов. Именно в этой сфере Оксман сумел органично соединить свой общественный темперамент с научным мастерством. В разгар революционной разрухи в предисловии к «Российскому музеуму» Оксман совершенно искренне выражал уверенность, «что идея издать в свое время погибшее в недрах цензурного ведомства, и переиздать то, что было искалечено цензурской рукою, – встретит горячее сочувствие как государства, так и общества»³⁴.

Свою общественную роль как текстолога и историка Оксман видел не в пассивном изучении текстов и событий прошлого, а в активном противостоянии «тиранам» и «палачам»: «Текстолог, как и историк, исправляет “ошибки истории” – творит суд и расправу, – всех ставит на свои места, потому что в жизни действ<ительной> кажущиеся победы, пирровы победы одержив<ают> тираны, пред историей – побеждает Никон, а не деспот, не палач»³⁵.

Взгляд на русскую литературу из цензурного архива определил литературоведческие и историографические предпочтения Оксмана: «Есть целый ряд писателей, публицистов, политических деятелей, творчество которых было систематически пожираемо цензурным ведомством: произведение или совсем не выходило в свет или выходило в искалеченном виде. По архивным же делам в настоящее время возможно реставрировать то, что в свое время не могло увидеть свет или увидело свет не так, как это было задумано автором»³⁶. Эти литераторы, ставившие в своем творчестве общественные и политические проблемы, интересовали Оксмана не только как жертвы цензурного ведомства, в отношении которых он своим долгом считал восстановить текстологическую справедливость. Их творчество потому и наталкивалось на «умственные плотины», что наиболее полно и остро ставило современные им общественные вопросы. В письме к жене из лагеря Оксман писал: «Маяковский оказался и большим человеком и человеком, кровно связанным со своей эпохой, тысячами нитей закрепленным в каждом году первого двадцатипятилетия XX века. Поэтому к нему так же, как и к Пушкину, очень оказалось удобным пристраивать и исторические и литературные и бытовые материалы об огромном

по своей значимости отрезке времени с 1905 по 1930 г. К писателям кабинетного стиля таких дорог не проложить, ибо от них самих никуда не уйти. Дело не в масштабах таланта, а в широте исторического дыхания...»³⁷.

Эту же мысль Оксман публично высказал в упомянутой выше лекции о Блоке, которую он сам в письме к К.П. Богаевской назвал «блистательным докладом». Основная мысль Оксмана заключалась в том, что Блок – один из шести великих русских поэтов (наряду с автором «Слова о полку Игореве», Пушкиным, Лермонтовым, Тютчевым, Некрасовым и Маяковским), «носителей общественного сознания». Им он противопоставил Державина, Жуковского, Батюшкова и Фета, которые «были мастерами и новаторами в области словесного искусства, но не борцами, не чувствовали и не понимали “музыки революции”». При этом Блок «явился первым советским поэтом Октябрьской революции, первым поэтом новой эры в истории человечества. Маяковский идет за Блоком – автором “Двенадцати” – и об этом давно пора сказать во весь голос. Горький, который увидел в “Двенадцати” сатиру на Октябрьскую революцию, показал этим свою контрреволюционную сущность, ибо он этой музыки революции и не почувствовал ни в 1918, ни в последующие 5–6 лет»³⁸. В опубликованном В.М. Селезневым конспекте лекции отсутствуют горьковская оценка поэмы Блока, а также пассаж о «контрреволюционной сущности» буревищика революции. Возможно, Оксман просто не решился воспроизвести эти мысли в аудитории, но очень хотел, чтобы они остались зафиксированы. В первом случае он цитировал запрещенную книгу К. Чуковского «Блок как человек и поэт», не переиздававшуюся с 1924 г.³⁹, а во втором случае также запрещенные в СССР «Несвоевременные мысли» Горького. При всей спорности предложенного деления Оксманом поэтов на откликающихся на общественные вопросы и на сосредоточенных на поэтическом мастерстве, оно отражает реальные тенденции литературного развития России XIX в. Точнее было бы говорить, что в творчестве каждого большого поэта отражаются обе тенденции.

Для Оксмана важно не только противопоставить эти стороны русской поэзии, но и определить собственное отношение к ним. Ученый формировался в период Серебряного века, когда перегородки, разделяющие литературу и науку о ней, практически были сняты. Среди поэтов было немало филологов, а среди филологов – поэтов⁴⁰. Они участвовали в одних и тех же изданиях, входили в одни и те же объединения. Филология считалась такой же частью литературного процесса, как сама литература, а писательское мастерство нередко становилось одним из критериев оценки

литературоведческого труда. Литературный процесс начала XX в. отличался от предшествующего XIX в. большей рефлексией. Во многом этому способствовало развитие русской философии, социологии, психологии и других дисциплин, занимающихся теми вопросами, которые традиционно ставила русская литература и русская литературная критика, отвечающие на социальный заказ⁴¹. Поэтому значение мастерства для создания художественного произведения нередко отодвигалось на второй план перед решением более важных, как тогда казалось, общественных вопросов.

С появлением и развитием в России на рубеже веков новых отраслей гуманитарного знания исследование общественно значимых проблем перераспределялось между литературой, философией, психологией, социологией и т. д. Это, в свою очередь, дало возможность лучше осознать специфику литературного процесса, акцентировать в нем не то, что сближает его с другими рядами интеллектуального пространства, а, наоборот, то, что выделяет на их фоне. Интерес к построению текста, природе слова, феномену поэтического языка объединил и писателей и филологов. Оксман живо реагировал на эти новаторства, но продолжал, по его собственному признанию, ощущать себя человеком XIX века. В духе современных ему представлений он считал, что писатель и филолог являются участниками единого литературного процесса, но в традициях любимого им XIX века видел это соучастие не в решении вопросов художественного мастерства и поэтики, а в постановке общественно важных проблем. Ставя идею произведения выше его формы, Оксман свою задачу видел в том, чтобы донести до читателя идейное содержание в максимально точном виде.

В заключение хотелось бы оспорить широко распространенное мнение о близости литературоведческих трудов Оксмана к так называемому «официальному советскому литературоведению»⁴². Сам Оксман прекрасно осознавал принципиальное различие между собственной методологией и установками официальной науки. Примерно в 1963 г. он писал: «К числу едва ли не самых заброшенных участков советского литературоведения принадлежит изучение массовой агитационно-пропагандистской литературы – от оды “Вольность”, “Деревни” и послания “Чаадаеву” Пушкина до сатирических песенок-агиток Рылеева и Бестужева, и рев<оложонного> Катехизиса С.И. Мур<авьева>-Апостола, от письма Белинского к Гоголю до нелегальных памфлетов Добролюбова и прокламаций Чернышевского и Шелгунова»⁴³.

«Официальная доктрина», «канонизировавшая» имена Пушкина, декабристов, Белинского, Герцена, революционных демократов,

меньше всего интересовалась их текстами. Изучение текстов подменялось цитированием⁴⁴, а выявление всего многообразия связей с эпохой – ретроспективным взглядом на них как на прямых предшественников советской власти. Современных читателей не должна вводить в заблуждение терминология Оксмана, несущая на себе следы революционного языка 1920-х годов, ставшего языком советского литературоведения. Язык, описывающий результаты исследования, не имеет прямого отношения к самому исследованию, он в большей степени обусловлен эпохой, в которую живет автор, чем объектом изучения. Поэтому внешнее терминологическое сходство не может быть доказательством методологической близости.

Противопоставление Оксмана – общественного деятеля и Оксмана-ученого не имеет смысла хотя бы потому, что свою гражданскую роль он видел в занятии наукой, а наука, как и литература, для него всегда были проявлениями общественной жизни. Его письма, выдающееся значение которых ни у кого не вызывает сомнений, являлись возможностью сказать или договорить до конца то, что в условиях советской цензуры он не мог сказать или договорить в своих печатных трудах. Русская литература XIX в. для Оксмана была не просто объектом изучения, но и живым опытом противостояния политическому режиму. Об этом писал его ученик профессор В.В. Пугачев, подчеркивавший родственную связь Оксмана не с советскими «учеными нового типа», а с К.Д. Кавелиным, Т.Н. Грановским, В.О. Ключевским – учеными, которые своими научными трудами, как и большие русские писатели, ставили значимые общественные вопросы⁴⁵.

Почему человек, прошедший лагерь, не ассоциировал тот ужас, с которым он там столкнулся, с революцией и советской властью в целом? Революция открылась перед ним не только своей страшной стороной, но и возможностями для профессиональной самореализации. Молодой возраст, плодотворная научная и организаторская деятельность смягчали удары, наносимые пролетарской диктатурой и гражданской войной. Оксман принадлежал к тому поколению деятелей русской культуры, которые смотрели на революцию глазами Блока и Маяковского и, видя в ней высокую и созидательную трагедию, слушали ее музыку. В письме Виктору Шкловскому от 21 октября 1966 г. он писал: «Ведь ты прав – нас, людей первых десятилетий нового века, понявших “музыку революции” и строивших самоотверженно новую культуру, осталось не более пяти-шести человек, если говорить о петербургском круге писателей и ученых, не учитывая тех, кто гниет на корню или “продал шпагу свою”»⁴⁶.

Что же касается тематики и содержательной стороны научных трудов, то связывать их с влиянием советской идеологии следует с большой осторожностью. Методологические принципы и основная сфера научных интересов Оксмана, как мы видели, сложились раньше утверждения новой идеологии. Сам Оксман видел свои научные корни в ОПОЯЗе и был обижен на Шкловского, который в своих воспоминаниях об ОПОЯЗе не упомянул его имени. Шкловский отвечал: «Ты лучший представитель старой школы. Прежде всего ты историк-литературовед. Вопросы, которыми ты занимаешься, интересны и важны, но для “ОПОЯЗа” в целом не характерны».

В данном случае Шкловский, по сути, прав. ОПОЯЗ для Оксмана – факт личной, а не научной биографии. В научном плане Оксман продолжал и развивал традиции литературоведения конца XIX – начала XX в., т. е. то, против чего выступали формалисты. В этом отношении революция никак не отразилась на его научной методологии. Но именно это органическая связь с дореволюционными академическими традициями сделала Оксмана неприемлемой фигурой для «официального советского литературоведения».

Примечания

- ¹ Для Оксмана-пушкиниста эта дата имеет особый смысл. От года смерти Пушкина к себе Оксман проводит непрерывную линию устной традиции.
- ² РГАЛИ. Ф. 2567. Оп. 1. Ед. хр. 179. Л. 5.
- ³ Там же. Л. 5.
- ⁴ Там же.
- ⁵ Цит. по: *Эйдельман Н.Я.* Первый декабрист. М., 1990. С. 162.
- ⁶ *Оксман О.Э.* Семейные хроники: Воспоминания. Одесса: Астропринт, 2008. С. 36.
- ⁷ Там же. С. 35.
- ⁸ Живое в мертвое время: Ю. Оксман. Памяти Александра Блока / Предисл., подгот. текста и примеч. В. Селезнева // Вопросы литературы. 2009. № 1. С. 341. См. также: *Богомолов Н.* О тиражировании легенд, а попутно и о текстологии // Новое литературное обозрение. 2009. № 97. [Электронный ресурс] URL: <http://magazines.russ.ru/nlo/2009/97/bo32.html> (дата обращения: 24.06.2017).
- ⁹ РГАЛИ. Ф. 2567. Оп. 1. Ед. хр. 179. Л. 4.
- ¹⁰ Имеется в виду: *Летопись жизни Белинского* / Сост. Н.Ф. Бельчиков, П.Е. Будков, Ю.Г. Оксман. М., 1924.
- ¹¹ РГАЛИ. Ед. хр. 212. Л. 10.

- ¹² Там же. Л. 11.
- ¹³ Там же. Л. 22.
- ¹⁴ Там же. Л. 20.
- ¹⁵ Там же. Л. 24.
- ¹⁶ Там же. Л. 25.
- ¹⁷ Подробнее об этом см.: *Депретто К.* Формализм в России: Предшественники. История. Контекст. М., 2015. С. 48–61.
- ¹⁸ РГАЛИ. Ф. 2567. Оп. 1. Ед. хр. 179. Л. 14.
- ¹⁹ Там же. Л. 20. См. также: *Якобсон Р.О.* Формальная школа и современное русское литературоведение. М., 2011.
- ²⁰ *Шкловский В.* Потебня // *Поэтика: Сборники по теории поэтического языка.* Вып. 1–2. Пг., 1919. С. 3–6.
- ²¹ Там же. С. 4.
- ²² Там же. С. 6.
- ²³ РГАЛИ. Ф. 2567. Оп. 1. Ед. хр. 179. Л. 20.
- ²⁴ См.: Из переписки Юлиана Оксмана и Виктора Шкловского / Публ. А.В. Громова // *Звезда.* 1990. № 8. С. 140; *Краснов Г.В.* Две лекции Ю.Г. Оксмана об ОПОЯЗе // *Юлиан Григорьевич Оксман в Саратове.* Саратов, 1999. С. 53–55.
- ²⁵ *Оксман Ю.Г.* Программа драмы А.С. Пушкина о папессе Иоанне: (К истории недовершенного замысла) // *Пушкинист: историко-литературный сборник: В 4 вып. / Под ред. С.А. Венгерова.* Вып. 2. Пг., 1916. С. 258–268. Формально это была вторая публикация Оксмана, но написана и сдана в печать она была раньше вышедшей в 1915 г. его статьи: *Оксман Ю.Г.* К вопросу о дате стихов Пушкина о старом дожде и догарессе молодой // *Русский библиофил.* 1915. № 3. С. 90–94.
- ²⁶ Среди множества положительных откликов (РГАЛИ. Ф. 2567. Оп. 1. Ед. хр. 1428) Оксман особенно ценил отзыв В.Я. Брюсова (см.: *Известия Московского литературно-художественного кружка.* Вып. 14–15. М., 1916. С. 79–82), отметившего «дельную заметку Ю. Оксмана» (РГАЛИ. Ф. 2567. Оп. 1. Ед. хр. 179. Л. 61).
- ²⁷ «Искренне Ваш Юл. Оксман»: (Письма 1914–1970 годов) // *Русская литература.* 2003. № 3. С. 144.
- ²⁸ Министром народного просвещения в то время был А.А. Мануйлов, затем в июне его сменил С.Ф. Ольденбург, а в сентябре – С.С. Салазкин. Большевиком наркомом просвещения, с которым Оксман имел дело, был А.В. Луначарский. См.: *Пугачев В.В., Динес В.А.* «А все-таки она вертится» // *Проблемы истории культуры, литературы, социально-экономической мысли: Межвузовский науч. сб.* Вып. 5. Ч. 2. Саратов, 1989. С. 37–38.
- ²⁹ Характерно, что «этот замечательный деятель», сочувствующий усилиям Оксмана по разоблачению «тайн» дореволюционной цензуры, сам явился родоначальником большевистской цензуры, значительно более строгой, чем

- царская. Можно только удивляться, как Оксман, испытавший на себе в полной мере всю тяжесть советской цензуры, сохранил благодарную память в отношении ее основателя. Впрочем, живое общение нередко оставляет в памяти облик человека, отличный от его исторической репутации.
- 30 Цит. по: *Зайцев А.Д.* «Человек жизнерадостный и жизнедеятельный...»: (набросок портрета Ю.Г. Оксмана по материалам его архива) // Встречи с прошлым. Вып. 7. М.: Советская Россия, 1990. С. 566.
- 31 Литературный музей (Цензурные материалы Государственного архивного фонда) / Под ред. А.С. Николаева, Ю.Г. Оксмана. Пб., [1921] [С. 2–3].
- 32 РГАЛИ. Ф. 2567. Оп. 1. Ед. хр. 130. Л. 14.
- 33 Там же. Л. 10б. О текстологических принципах самого Оксмана см.: *Фролов М.А.* Проблемы текстологии в научном наследии Ю.Г. Оксмана: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 2013.
- 34 Российский музей. Пг., 1919. [С. 5].
- 35 РГАЛИ. Ф. 2567. Оп. 1. Ед. хр. 179. Л. 15.
- 36 Российский музей... [С. 4].
- 37 РГАЛИ. Ф. 2567. Оп. 1. Ед. хр. 213. Л. 12–12об.
- 38 *Богоевская К.П.* Возвращение. О Юлиане Григорьевиче Оксмане / Вступ. заметка и прим. И.Д. Прохоровой // Литературное обозрение. 1990. № 4. С. 109.
- 39 Ср.: «Однажды Горький сказал ему, что считает его поэму сатирой. “Эта самая злая сатира на все, что происходило в те дни”» (*Чуковский К.* Александр Блок как человек и поэт: Введение в поэзию Блока. М., 2010. С. 49).
- 40 Об этом см.: *Депретто К.* Указ. соч. С. 57 и сл. Ср. слова Оксмана о Блоке, который, по его словам, «близок нам как поэт-филолог по мастерству, по широте интересов. Теоретик, критик, литературовед» (Живое в мертвое время. Ю. Оксман. Памяти Александра Блока / Предисл., подгот. текста и примеч. В. Селезнева // Вопросы литературы. 2009. № 1. С. 344).
- 41 Ср.: *Яacobson P.O.* Формальная школа и современное русское литературоведение. М., 2011. С. 38–39.
- 42 См., например: *Тодес Е.А., Чудакова М.О.* Указ. соч. С. 114.
- 43 РГАЛИ. Ф. 2567. Оп. 1. Ед. хр. 179. Л. 12.
- 44 Цитатный метод раздражал Оксмана, видевшего в нем проявление конъюнктуры. В этом он упрекал Виктора Шкловского: «Неужели ты сам не чувствуешь, что Добролюбов и Чернышевский, Чернышевский и Добролюбов – в таких пропорциях, [какими?] ты угощаешь читателя, невыносимы» (Из переписки Юлиана Оксмана и Виктора Шкловского // Звезда. 1990. № 8. С. 130).
- 45 См.: *Пугачев В.В., Динес В.А.* Историки, избравшие путь Галилея: Статьи, очерки. Саратов, 1995. С. 21, 31.
- 46 Из переписки Юлиана Оксмана и Виктора Шкловского... С. 140.

Имажинизм и ЛЕФ:
жизненный мир советской литературы
в конфликтном противостоянии

В статье исследуется жизненный мир советской литературы 20-х годов XX века, когда обострились споры о природе художественности в связи с произошедшей революцией: кому она принадлежит? Личности или коллективу? Имажинизм и ЛЕФ – две силы, которые максимально разошлись в решении этого вопроса, во многом повторяя старый спор модернистов и позитивистов эпохи Первой русской революции.

Ключевые слова: модернизм, позитивизм, ЛЕФ, имажинизм, революция, художественность.

Московским преемником дореволюционного модернизма, изувеченного мировой войной, пострадавшего от внутренних кризисов, от внешних невзгод, стал имажинизм, который в 1922 г. начал выпускать журнал с характерным модернистским названием «Гостиница для путешествующих в прекрасном». Вышло четыре номера журнала, последний номер – в 1924 г.

Имажинизм противостоял футуризму ЛЕФа, начавшего с 1923 г.¹ выпускать одноименный журнал.

Многое из того, о чем спорили модернисты и позитивисты еще до революции, повторилось в исторических условиях новой экономической политики советской власти. Однако в культурных контекстах не бывает абсолютных повторов, точных копий прошлого, – советская действительность налагала новые требования на тех, кто идейно отстаивал право выражать эпоху через искусство, литературу, поэзию.

По-прежнему модернизм в лице имажинизма не терпел всякой надличной санкции, ограничивающей дух творчества, по-преж-

нему позитивизм в лице лефовского футуризма не терпел всякой индивидуальности, противостоящей коллективу. А. Мариенгоф в «Письме Есенину», опубликованному в «Гостинице», писал: «Как и в первые дни, так и сегодня нашим лютейшим врагом является футуризм – этот циничнейший осквернитель искусства»². С. Третьяков в статье «Откуда и куда?», опубликованной в журнале «ЛЕФ», определял одну из главных задач футуризма так: «заставлять пегасов возить тяжелые вьюки практических обязанностей агит- и пропаг-работы»...³

Рассмотрим основные концепты модернизма в имажинизме, а также противостоящие им концепты позитивизма в лефо-футуристических манифестациях.

Между имажинизмом и лефовским футуризмом⁴ пролегла граница, которая отделяла идеализм от материализма, культуру идеалистическую от культуры сугубо материалистической, культ идеи от культа вещи. Разделение на два лагеря, идеалистический и материалистический, не умерло после революции и гражданской войны, но существовало в новых условиях.

Имажинизм – противник всякого утилитаризма

Любое ограничение утилитарностью, вещным миром рассматривалось как покушение на жизнь духовную. В первом номере «Гостиницы», в первой статье под ироническим названием «Не передовица», говорилось о том, что имажинисты «издавна» склонны к «философским и метафизическим путешествиям». Как видно, утилитаризму с отсылкой на давнюю традицию противопоставлена метафизика. Но теперь метафизика обрела свой образ – имажинистский: это путешествие в «белоснежные горы прекрасного». И хотя времена изменились, и по контексту печальных слов передовицы – не в лучшую сторону: люди стали ценить больше комфорт путешествий⁵, чем остроту переживаний, – истинно прекрасное не умерло! Оно ждет путешественника, готового испытать «сущность прекрасного» – катастрофическое «сотрясение современного духа», а для этого нужно подняться все выше и выше, не боясь трудностей. В «изобретательстве порядка космического» открывается смысл путешествия; это космическое расширение сознания.

Не в строении однодневного быта, не в канонах политических программ, не в изобретении высвечивающейся на три аршина шеи (о, товарищи футуристы, до чего убого ваше воображение!) видим мы

путь художника и его большую тему. Если открытие Эйнштейна брать применительно к масштабам земли, то его утилитарное значение будет не больше утилитарного значения метафизического трактата⁶.

На самом высоком горном перевале построена Гостиница для тех, кто не испугается холода, для кого вечный лед не помеха, а сладостная чистота морозного воздуха на пользу, – таких путешественников уже ждут в «гостинице для путешествующих в прекрасном». Им «обеспечен кров, радушие хозяина и занимательная беседа соседей, правда немного странноватых с точки зрения тех, кто живет внизу. Но кто его знает: может быть, уж не так странноваты соседи, а может быть, и совсем не странноваты, а странновата сама точка зрения. В самом деле, почему это вот так-таки вы и уверены, что самое законное местонахождение точки зрения внизу, а не наверху. Мы спрашиваем вас: почему обязательно у подошвы? Разве в новой библии сказано, что пятка важнее головы?»⁷. Имажинисты были настолько метафизичны, высоко в горах, что не обращали внимания на такую «деталь», как нумерация страниц журнала «Гостиница». Материальный, вещный мир был столь чужд им, что вопрос нумерации мог волновать, по их представлениям, только приверженцев утилитарного, а не прекрасного...

ЛЕФ – концептуальный выразитель пролетарского утилитаризма

Первые слова первого номера журнала сразу и безоговорочно определяли позицию журнала:

За что борется ЛЕФ? 905-й год. За ним реакция. Реакция осела самодержавием и удвоенным гнетом купца и заводчика. Реакция создала искусство, быт – по своему подобию и вкусу. Искусство символов (Белый, Бальмонт), мистиков (Чулков, Гиппиус) и половых психопатов (Розанов) – быт мещан и обывателей⁸.

В отличие от позитивизма эмпириокритиков, лэфовский футуризм, тесно сошедшийся с конструктивизмом, не только не отрицал свою приверженность к утилитаризму, но и обосновывал его крайнюю необходимость (чего не делал традиционный позитивизм). Чтобы понять, почему произошла концептуализация утилитаризма, обратимся к истории ЛЕФа, к тому, как ее видели сами лэфовцы.

Первая импрессионистическая вспышка – в 1909 году сборник «Садок Судей». Вспышку раздували 3 года. Раздули в футуризм. Первая книга объединения футуристов – «Пощечина общественному вкусу» (1914 г. – Бурлюк Д., Каменский, Крученых, Маяковский, Хлебников). Старый строй верно расценивал лабораторную работу завтрашних динамитчиков. Футуристам отвечали цензурными усекованиями, запрещением выступлений, лаем и воем всей прессы⁹.

Февральская революция углубила раскол в футуризме, появился футуризм «правый» и «левый». Левые радостно встретили Октябрь, стали «большевиками искусства» (В. Маяковский, В. Каменский, Д. Бурлюк, А. Крученых). К этой футуристической группе примкнули первые производственники-футуристы (О. Брик, Б. Арватов), потом – конструктивисты (А. Родченко, А. Лавинский).

Футуристы не забывали, что большое участие в их идейном становлении сыграл нарком просвещения А.В. Луначарский. Он передал им эстафетную палочку: вот вам, футуристы, эмпириокритицизм, – дерзайте! В статье «Трибуна ЛЕФа» С. Третьяков отмечал: «Первым человеком, связавшим слова “футуризм” и “пролетарский поэт”, был Луначарский, который в 1918 году квалифицировал Маяковского, как изумительного пролетарского поэта. Затем т. Чужак трактовал футуризм, как пролетарское искусство»¹⁰.

В организацию ЛЕФ вошли четыре группы: футуристы, конструктивисты, производственники, опоязовцы (сторонники формального метода в искусстве и литературе)¹¹. Их объединяла идея концептуального утилитаризма в жизни, искусстве, литературе, пролетарской эстетике...

В первом номере «ЛЕФа» было прямо заявлено: «ЛЕФ будет бороться за искусство-строение жизни». Еще до создания ЛЕФа-журнала в газете «Искусство коммуны» (1918) Осип Брик писал: «Все, кто любит живое искусство, кто понимает, что не идея, а реальная вещь – цель всякого истинного творчества; все, кто может творить вещное, должны принять участие в создании этих подлинно пролетарских центров художественной культуры. Реальность, а не призрак. Вот лозунг грядущего искусства коммуны»¹². Под реальностью понималась именно «вещь». Это «затрапезное понятие» с легкой руки Маяковского, брошенное в 1916 г. («Человек, вещь»), стало постепенно обрастать концептуальным содержанием, пока не сформировалось в понятие-концепцию утилитарного искусства. Венцом этой своеобразной теории вещи

стало определение: «Искусство, как прямое материальное создание “вещей” – вот первый камень программы максимум»¹³. И еще: «Искусство, как материальное строение вещи»¹⁴.

Иными словами, «жизнь», как исключительно материальный процесс потребления, как материя, выше всякой идеальности, выше искусства. В конечном счете искусство обязано раствориться в жизни. Самоуничтожение искусства левовцы рассматривали как *метод жизнестроения*: «Искусство есть только количественно-своеобразный, временный, с преобладанием эмоции, метод жизнестроения и, как таковой, может остаться ни изолированным, ни, тем более, длительно самостийным – в ряду других подходов к строению жизни»¹⁵. В результате этого сознательного выбора искусство проникнет в жизнь и радостно умрет в ней!

Сама мысль о смерти искусства ради жизни объяснялась через «восстание вещей» против духа, как «результат какого-то процесса диалектически развивающейся материи, созданной неведомым коллективным художником-творцом»¹⁶. В коммунистической мысли, исключающей присутствие духа, «свергнутый художник» оплодотворится растворением в массе: «Искусство – это лишь робкое ученичество перед лицом огромно-развивающейся, творимой жизни»¹⁷.

В прежней традиционной культуре, которую яростно критиковали левовцы, искусство определялось как *метод познания жизни*, но не сама жизнь. Это означало, что, помимо жизни, процесса материального, шла какая-то реальная жизнь познающей субстанции – духа. Обнаруживался дуализм материи и духа – и неизбежно дух творящий оказывался первичным в акте творения. Критике подвергались не только идеалисты, но и творцы теории «строения вещи», которые оказывались непоследовательными сторонниками самой «вещи» как вместилища жизни. Так, Н.Н. Пунин в статье «Искусство и пролетариат» допустил «махровый идеализм», по мнению журнала «ЛЕФ», когда писал о познавательном характере художественной деятельности: «...везде и всюду пролетариат центр тяжести переносит с момента познания на непосредственное строение вещи включая сюда и идею, но – лишь как определенную инженерную модель»¹⁸.

Итак, местонахождение идеи – в самой вещи, в ее конструктивной модели, но никак не вне вещи. Искусству как методу познания жизни было противопоставлено искусство как метод строения жизни! Левовцы осознавали, что не так-то просто объяснить первичность материи, когда речь идет о творчестве, и потому вводили еще один тезис в теорию вещи – о «преодолении материи». Нельзя

говорить об идеи вещи, хотя это само по себе привычно и понятно, но можно и нужно говорить о «вещи в модели» – такие «идеи вещей» допускались как «материализованные» идеи и считались «содержанием искусства дня». Под «идеями вещей» мыслились идеологические ценности: «Творчество новых *идеологических* и материальных ценностей – вот... единственный надежный критерий...»¹⁹.

Жизнь, напитавшись пролетарским искусством до предела, «извергнет за ненужностью искусство, и этот момент будет благословением футуристического художника», а пока этого насыщения жизни искусством не произошло, художник обязан быть «на посту социальной и социалистической революции»²⁰.

Таким образом, дело лефовского футуризма – приближать полную победу пролетарского утилитаризма как венец освобождения материи от духа (в виде искусства).

...Искусство будет не зазывать в свои волшебные фонари для отдыха, но окрашивать каждое слово, движение, вещь, создаваемое человеком, станет радостным напряжением, пронизывающим производственные процессы, хотя бы и ценою гибели таких специальных продуктов искусства сегодня, как стихотворение, картина, роман, соната и т. п.

Каждая группа, входящая в ЛЕФ, формулировала свои конкретные задачи по утилизации искусства в вещном мире. Если левый футуризм по большей части был связан с литературой, поэзией, то «футуристы-производственники» (О. Брик, Б. Арватов) толковали утилизацию искусства через «вещь» в виде произведенного товара. В статье С. Третьякова «Откуда и куда?» обсуждалась проблема самоидентификации футуристов. Он писал: «Сущность теории производственного искусства заключается в том, что изобретательность художника должна служить не задачам украшения всяческого рода, но приложена ко всем производственным процессам. Мастерское делание вещи полезной и целесообразной – вот назначение художника, который тем самым выпадает из касты творцов и попадает в соответствующий производственный союз»²¹.

«Искусство-производственный» процесс «мыслится, как некая товарная, т. е. обменная и регулируемая спросом-предложением, ценность»²².

В духе прежних позитивистов-эмпириокритиков подвергали критике и сторонников метафизического материализма, утверждавших, что «вещь» – это только «внешне-осязательная материальность», лишенная всякой идеи. Нет, «идея» все же есть!

«Идея есть необходимая предпосылка всякого реального строения – модель на завтра»: иными словами, «модель на завтра» это научное, преимущественно логическое, в духе диалектического материализма, постижение материи.

Только идея, как продукт диалектического осознания вещей, заслуживает напряженного внимания пролетариата. Только идея диалектического «чувствования» мира через материю есть плодотворная, действенная предпосылка к построению материальной вещи²³.

Ясно, что границы между «производственниками» и «конструктивистами» были условными. Конструкция – это модель, а модель – это «идея» вещи: так в самой вещи должно замкнуться пролетарское творчество. Лефовцев-конструктивистов, к примеру, очень интересовала архитектура как опыт, в котором должен воплотиться «самодовлеющий конструктивизм». В статье «Идеология и задачи советской архитектуры», опубликованной в третьем номере журнала «ЛЕФ» за 1925 г., К. Зелинский отмечал: «...“художество”, самодовлеющее искусство и инженерия – самодовлеющий конструктивизм приходят теперь в столкновение»²⁴. Декларировалось, что «все формы или точнее – служебная роль всех форм – подчинены материалистической диалектике истории». Зелинскому понравилась мысль Луначарского в его статье «Промышленность и искусство», в которой он говорил о «куполе общечеловеческих ценностей», воздвигаемых социализмом «над индивидуальной личностью». Но Зелинский шел дальше, утверждая, что нельзя, подобно Луначарскому, допускать «идеалистический соблазн», ибо «норма прекрасного есть категория исторического и конструктивистского порядка»²⁵.

В статье «Овеществленная утопия» Б. Арватов также противопоставлял архитектуру как «эстетический культ красоты» и архитектуру, в которой не должно быть украшения, архитектуру, «подчиненную лишь закону социально-технической целесообразности».

Анализируя творчество конструктивиста Лавинского, Арватов писал: «Что ж такое конструктивизм? Когда прежний художник брался за материал (краски и т. п.), он считался с ним лишь как со средством впечатления. Достигалось такое впечатление в формах изобразительности. Художник “отражал” мир, как это любят говорить. Бешеный рост индивидуализма разложил изобразительность. Появилось беспредметное искусство. И вот, в то время как одни (экспрессионисты, например) чрезвычайно обрадовались такому новшеству и, не вылезая из болота “впечатлительного”

творчества, перекроили его на фасон метафизики – другие увидели в беспредметной форме новую, небывалую возможность. Не творчество форм высшего “эстетического” – а целесообразное конструирование материалов. Не самоцельность, а содержательность. Замените слово “содержание” словом “назначение”, и вы поймете, в чем дело»²⁶.

Обсуждалось в журнале и творчество конструктивиста Родченко: «...еще есть такие – они и картинок не пишут, и в производстве не работают, они “творчески познают” “вечные законы” цвета и формы. Для них реальный мир вещей не существует, им нет до него никакого дела. С высоты своих мистических прозрений они презрительно глядят на всякого, кто профанирует “святые догмы” художества работой в производстве, или другой области материальной культуры. Родченко не таков»²⁷. Формула конструктивизма в его творчестве такова: «Родченко видит в вещи надлежащий оформлению материал»²⁸.

То же самое – о театре: его рассматривали как своеобразное производство нового быта. В статье Б. Арватова «Утопия и наука» утверждалось, что «только выросшие в... новом “ожизненном” театре мастера смогут вместо театрализации быта дать строго утилитарное, тейлоризированное бытооформление»²⁹.

Театр объявляется застрельщиком рабочей культуры, организуя волю человека и всю его психику – в направлении победы над машиной и овладения ею, в плоскости организации творящего коллектива, параллельно с социальной организацией класса³⁰.

«Футуристы – строители языка»: так называлась статья Г.И. Винокура, объяснявшего задачи группы ОПОЯЗа в ЛЕФе³¹: Общество изучения поэтического языка (ОПОЯЗ) было создано еще в 1916 г. в Петербурге представителями формального метода в литературоведении, примкнувшими затем к левым футуристам. И в этой группе ЛЕФа также системообразующей была «теория вещи», исключавшая внеутилитарные мотивы творчества. В статье О.М. Брика «Т. н. формальный метод» утверждалось, что «нет поэтов и литераторов, – есть поэзия и литература».

Поэт – мастер своего дела. И только. Но чтобы быть хорошим мастером, надо знать потребности тех, на кого работаешь, надо жить с ними одной жизнью. Иначе работа не пойдет, не пригодится. Социальная роль поэта не может быть понята из анализа его индивидуальных качеств и навыков. Необходимо массовое изучение приемов поэтического ремесла...³²

О.М. Брик так определял главную позицию этой группы ЛЕФа: «“ОПОЯЗ” изучает законы поэтического производства»³³.

Но как обойти очевидные трудности, – ведь поэтическое творчество всегда связано со смыслом? Не является ли смысл поэзии ее идеалистической основой? В статье «Поэтика. Лингвистика. Социология (методологическая справка)» Г. Винокур не сомневался, что ответы на эти непростые вопросы имеются. Он писал: «...поэтическое творчество – есть работа над словом, уже не как над знаком только, а как над вещью, обладающей собственной конструкцией, элементы которой переучитываются и перегруппировываются в каждом новом поэтическом высказывании. Значит ли это, однако, что поэтическая работа не есть работа над смыслом? Ни в коем случае, ибо и смысл здесь берется как вещь, как материал стройки, как одно из звеньев конструкции»³⁴. В статье «О литературном факте» Ю. Тынянов отмечал, что «литература есть динамическая речевая конструкция»³⁵.

В журнале «ЛЕФ» звучал и общий призыв, относящийся ко всем группам: «Искусство, как единый радостный процесс ритмически организованного производства товаров-ценностей в свете будущего, – вот та программная тенденция, которая должна преследоваться каждым коммунистом»³⁶.

Имажинизм: эстетика прекрасного

В одной из первых статей первого выпуска «Гостиницы» была опубликована статья А. Мариенгофа «Корова и оранжерея». Ремесло – это корова, неуклюжая, грязноватая, несоразмерная, неизящная, ну а какая корова другая бывает?.. Вот такая корова оказалась в оранжерее, где выращиваются редкие, изысканные цветы. В чем же проблема? Проблема в том, что «корову», или ремесло, пустили в «оранжерею» – в искусство! Утилитарное ремесло претендует на место искусства, не являясь им и не желая быть им! Кто же виноват? Ремесло поднялось до уровня искусства? Да нет же! Искусство опустилось до ремесла! Ведь материал у ремесла и искусства – один и тот же, выбор остается за творцом: он или мастерит, или творит.

Материал прекрасного и материал художественного ремесла один и тот же: слово, цвет, звук и т. д. Искусство, проделывая над ним метаморфозу творческого завершения или подчинения законам формы, решает проблему темы. Для художественного ремесла материал самоценен сам по себе. Материал, как таковой, вне каких-либо подчинений...³⁷

Последнее предложение – ключевое; утилитарное ремесло не признавало «темы» как художественного (эстетического) взгляда, превращающего ремесленный продукт в искусство. Но ремесло здесь – не буквально ремесло бытовое. Оно, прежде всего, ремесло поэтическое, противостоящее поэтическому искусству: «Благодаря вопиющей некультурности в делах эстетики сейчас считают поэзией кунштюки, проделываемые Пастернаком над синтаксической фразой (перестановка подлежащих, сказуемых, дополнений и определений, нарушающая дух и традицию языка, только наивным может показаться исканием новой формы). Еще меньшее отношение к стихотворству имеют ритмические упражнения Асеева, неологизмомания Крученых, работа над примитивной инструментовкой В. Каменского...»³⁸.

Вторжение «коровы» в «оранжерею» привело к гибели чудесного цветка, имя которому «академия». Она погибла в «мясистых челюстях» ремесла. Понятием «академия» Мариенгоф определял эстетический принцип, который сводился к необходимости овладеть «не отдельными элементами материала, а формой в целом». Утверждалась необходимость эстетического взгляда, предваряющего всякий продукт творчества. «Новаторское искусство всегда академично. Ибо под новаторством мы понимаем не ремесленный трюк, а движение искусства вперед»³⁹, – заявлял он.

Лефовский футуризм: изгнание «академии» и эстетики прошлого

В первом же номере журнала «ЛЕФ» утверждалось, что «академия», как вражеский бастион традиционной эстетики, должен быть разгромлен («мы повели учащихся на штурм академии»). Вводился даже революционный термин «акстарье»: академическое старье, все, что было создано и принято вечными образцами искусства. В манифесте первого номера журнала «В кого вгрызается ЛЕФ?» утверждалось прямо: «...мы будем бить в оба бока: тех, кто со злым умыслом идейной реставрации приписывает акстарью действительную роль сегодня, тех, кто проповедует вне-классовое, всечеловеческое искусство, тех, кто подменяет диалектику художественного труда метафизикой пророчества и жречества. Мы будем бить в один, в эстетический бок».

Любая вещь – плод отнюдь не эстетических соображений, утверждали лефовцы, любая вещь определяется ее социальным «назначением» – и это назначение определяет «организацию... цвета и формы»⁴⁰.

Утверждалась необходимость в построении новой эстетики, «установления правильного взгляда на искусство». Надо полностью изжить «метафизическую эстетику», и любое упоминание об искусстве как о самостоятельной форме деятельности, и только после этого утверждать новый эстетический взгляд на вещь. Сущность новой эстетики должна определяться отношением к искусству как к средству, а не цели, к средству «эмоционально-организующего воздействия на психику, в связи с задачей классовой борьбы»⁴¹. Но и этого недостаточно: необходимо забыть о таком понятии, как «содержание» искусства, и заменить его понятием «назначение». Но и этого мало для пролетарской эстетики: необходимо полностью отказаться от привычного разделения «формы» и «содержания»: если содержание заменяется назначением, то и форма теряет всякий смысл. Вместо традиционного разделения формы и содержания нужно ввести учение «о способах обработки материала в нужную вещь»⁴². Таким образом, возникает новая эстетика, с новым набором понятий, отвечающих духу утилитаризма: «Понимание искусства, как процесса производства и потребления эмоционально организующих вещей, приводит к следующему определению: форма есть задание, реализованное в устойчивом материале, а содержание есть то социально полезное действие, которое производит вещь, потребляемая коллективом»⁴³.

Но не просто сразу ввести пролетарскую эстетику, не победив имажинистов и всех, кто им сочувствует. Так возникают «две основные задачи» в борьбе с традиционной эстетикой:

1. Предельно овладев оружием эстетической выразительности и убедительности, заставлять пегасов возить тяжелые вьюки практических обязанностей агит- и пропаг-работы. Внутри искусства вести работу, разлагающую его самодовлеющую позицию.
2. Анализируя и осозная движущие возможности искусства, как социальной силы, бросить порождающую его энергию на потребу действительности, а не отраженной жизни, окрасить мастерством и радостью искусства каждое человеческое производственное движение⁴⁴.

В этой борьбе были и свои успехи, о чем с радостью сообщалось, например, в статье Варста «О работе конструктивистской молодежи». На конструктивистской выставке были представлены модели «материального оформления вещей для металлической промышленности». Варст хвалил молодежь за то, что она «в противовес эстетическому ее [вещи. – А. Ю.] компонованию в плане искусства»

идет от «задания, материала и конструкции к форме вещи в целом» (от материи – к идее):

В показанных работах студент исходил не из заранее выявленной «художественной» формы предмета, а форма явилась результатом решения основного задания. Это очень резко подчеркнуто на выставке, где *ни в одной работе не было преобладания задач чистой формы (эстетика) над утилитарным смыслом вещи* (курсив автора. – А. Ю.). ...Выставка – первый прорыв конструктивистской молодежи в *борьбе с эстетической заразой* (курсив мой. – А. Ю.)⁴⁵.

Но как же относиться к произведениям мирового искусства? Не может же ЛЕФ отрицать его наличие? Греческое искусство, писал Б. Арватов в статье «Маркс о художественной реставрации», конечно, прекрасно. Но оно прекрасно только в своем социально-политическом контексте, и никакими метафизическими правами не обладает. «Красота, как социально-исторический факт, а не как психологически-вкусовое явление – вот необходимый вывод»⁴⁶, – писал автор статьи.

Никто из левовцев не смущался таких формул: «Мы не жрецы-творцы, а мастера-исполнители социального заказа»⁴⁷. Или: «Нет творчества, есть лишь работа, мастерство»⁴⁸. Пролетарская эстетика – это «эстетика социально-технического утилитаризма»⁴⁹.

Имажинизм: «прекрасное культуры» в русском (национальном) Ренессансе

Прекрасное культуры это «многотысячное родословное дерево», это мировая художественная культура. Мариенгоф писал: «Имажинизм связывает себя с символизмом и ренессансом в духе революционного времени»⁵⁰.

Понятие Ренессанса было возобновлено имажинистами с новой силой, и при этом не только воскрешалась почти угасшая, с гибелью культурного слоя, знаковая семантика «старого» модернизма, но она и насыщалась новыми идеями революционной эпохи. Чему противостоял русский Ренессанс? Мариенгоф точно определял диспозицию футуризма на поле идейной брани: это «искусство злободневного техницизма»⁵¹.

Может быть, война и революция были теми внутренними толчками колоссальной мощности, которые разбили единую планету искусства

на два материка. Первый материк мы назовем: прекрасное культуры, второй: искусство злободневного техницизма... Искусство злободневного техницизма – продукт XX века. Его породила журналистика. Оно переняло по наследию все ее качества: поверхностность, сегодняшность, наглость. Культура искусства, выражающего техницизм – культура негра из парижского кафе-шантана. Его научность – научность сторожа из университетской лаборатории. Выдвигая идеологию вещи, оно по существу выражает не ее природу, не образ, а видимость⁵².

Имажинисты верили в национальное возрождение: «На чем же базируется уверенность наша, вера в русский ренессанс?» В статье с примечательным названием «Моя вера» Б. Глубоковский отделял русский ренессанс с космополитическим содержанием от ренессанса национального. Он спрашивал: какие главные признаки «таит в себе русский ренессанс?» И отвечал: «Мы уверены в следующих. Тема, национальность, политехника. Нет искусства без мироощущения. Импретированное мироощущение и есть тема. Живопись не собрание картинок, услаждающих глаз и украшающих салоны, поэзия не хладный лимонад в жаркую погоду, театр – не веселая доука. Искусство есть познание внелогических категорий и познание это тем ценнее, чем глубже и всеобъемлющей»⁵³.

Такой Ренессанс теоретически был ближе ренессансу славянофильскому (эпохи Первой мировой войны), чем Ренессансу космополитическому в духе учения Бердяева, но сами имажинисты категорически отвергали любую возможность интерпретировать категорию национального через реставрацию старого спора между западниками и славянофилами.

Не о реставрации старого спора славянофилов и западников толкуем мы. Нам чужды националистические порывы насадителей скудных *gusserie*. Наши традиции надлежит искать в большей глубине... Политехника. Современные направлены монотехничны. Часть выдается за целое. После аналитизма последних десятилетий искусство неминусом станет политехническим. Эти три признака грядущего ренессанса достаточно определяют сущность его. Пусть это будет евразийская сущность, за то будет самобытная, наша, русская, за то она лишена той меркантильно-прикладнической *валгарииутилитарной* (так! – А. Ю.) окраски, которую так назойливо навязывают ему поденщики, приказчики, а не творцы⁵⁴.

В статье Г. Якулова «ARS SOLIS (спорады цветописца)» речь шла о том, чтобы произвести новую ревизию культуры – «ра-

зомкнуть круги культур – и составить из них новый круг, как это сделала эпоха Возрождения»⁵⁵. Задача новой эпохи – вновь связать «распавшуюся связь времен, создав в противовес западному Ренессансу Восточный Ренессанс». О такой переоценке ценностей писал и Александр Таиров («Из записной книжки»): новая эпоха должна быть более органичной, чтобы стать «ренессансом современности»⁵⁶.

Ренессанс возможен потому, что нет больше классовой определенности бытия. В первом номере «Гостиницы» за 1924 г. был опубликован текст, который смело можно назвать Манифестом имажинизма, – это «Восемь пунктов». Восемь утверждений, которые ни у кого из круга имажинистов (подписали: Анатолий Мариенгоф, Вадим Шершеневич, Николай Эрдман, Рюрик Ивнев, Сергей Есенин) не вызывали возражений. Первое утверждение касалось деклассированного состояния имажинистов. Это положение давало им право говорить о духовном Ренессансе, в котором уже нет примата классовой идейности. Логика отрицания ими классовой борьбы учитывала саму марксистскую философию, в которой теоретически допускатся бесклассовое состояние.

На обвинение: – Поэты являются деклассированным элементом? Надо отвечать утвердительно:

– **Да, нашей заслугой является то, что мы уже деклассированы** (здесь и далее выделено авторами этого документа. – А. Ю.). К деклассации естественно стремятся классы и отдельные категории. Осознание класса есть только та лестница, по которой поднимаются к следующей фазе победного человечества: **к единому классу**. Есть деклассация в сторону другого класса – явление регрессивное; есть деклассация в сторону внеклассовости, базирующейся на более новых формах общества; эта **деклассация – явление прогрессивное**. Да, мы деклассированы потому, что мы уже прошли через период класса и классовой борьбы⁵⁷.

В четвертом пункте речь шла о том, насколько «ваше искусство» необходимо пролетариату? Ответ имажинистов демонстрировал их уверенность в том, что искусство не обязано быть понятным абсолютно всем – и не вина искусства, если оно не понятно всем. Люди сами должны дорасти до восприятия...

Упреки – ваше искусство не нужно пролетариату? – построены на основании ошибки с марксистской точки зрения: смешивается пролетариат с отдельными рабочими. **То, что не надо Сидорову или Иванову, может быть, как раз нужно пролетариату**. Если встать на

точку зрения: это не нужно пролетариату потому, что 100 Ивановых это сказали, поведет к выводу, что пролетариату никакое искусство не нужно: часть рабочих и солдат разорвала гобелены зимнего дворца на портянки – следовательно, старое не нужно. Часть рабочих отозвалась отрицательно о новом искусстве, следовательно, оно тоже не нужно. То, что нужно пролетариату в 1924 году, выяснится пролетариатом в 2124 году. История учит терпению. **Споры в этой области – прогноз гадалки**⁵⁸.

Классовая точка зрения на искусство или «красное эстетизирование», по мнению имажинистов (пункт третий), создают ситуацию, при которой нет и не может быть погружения во внутренний мир того или иного явления современности, но рассмотрение ограничивается всегда только внешним обзором «вещи».

Поспешным шагом создается новое «красное эстетизирование». Маркизы, пастушки, свирели – каноны сантиментальной эпохи. Машины и сумбур – эстетические привычки буржуазно-футуристической эпохи.

Серп, молот, мы, толпа, красный, баррикады – такие же атрибуты красного эстетизирования. Примета зловещая. Фабрикаты штампа. Об аэропланах легко писать теперь, надо об них было писать до изобретения. Легко сейчас воспевать серп и молот. Надо было до революции. Эстетизирование не в том, что воспевать (красивость маркизы не более эстетична, чем красивость баррикад). **Эстетизирование в том, что воспеваются внешне модные предметы с внешне модной точки зрения**⁵⁹.

Преобразование культуры в границах Восточного Ренессанса обязано быть духовным явлением – это, надо сказать, типичная позиция и «старого» модернизма: не с внешней стороны следует менять жизнь людей, а с внутренней. Человека следует освобождать духовно! Имажинисты остро чувствовали проблему Октябрьской революции в том, что она освободила народ российский внешне, но не освободила его внутренне. Последние пункты – об этом.

Седьмой:

К спору о том: что поэт такой же человек как все, или он избранник? – Арабский скакун такой же конь как и все извожичьи лошади. Но почему то на скачках он бывает впереди других. Кстати: не напоминают ли пролетарствующий **«ЛЕФ»** и **литературные октябристы**

из «На посту» – потемкинские деревни. Мы предпочитаем даже тундровые мхи Петербургской академии пирамидальным тополям из войлока и мочалы футуро-коммунаров⁶⁰.

И, наверное, главный пункт – восьмой:

Октябрьская революция освободила рабочих и крестьян. Творческое сознание еще не перешагнуло 61-й год.

Имажинизм борется за отмену крепостного права сознания и чувства⁶¹.

Футуризм: классовая борьба с «мещанством» в культуре пролетарской действительности

В отличие от позитивизма эмпириокритиков, считавших мещанами всех, кто исповедует индивидуализм, лефовский футуризм рассматривал мещанство расширительно – не только как индивидуализм, но и как явление классовое. В условиях победившей революции классовым врагом становился привычный быт людей, с их привычными интересами, склонностями, культурными навыками, словом, мещанство враждебно именно как привычка жить привычной жизнью, не замечая революцию. Прежний инструментальный разоблачения значительно пополнился нововведениями победившей революции. Старый быт – враг, но и старая культура, традиционная литература, поэзия – тоже враги. Ибо они формируют ложное представление о нэповской возможности возвращения к прежней жизни – дореволюционной.

В лефовском футуризме, в отличие от позитивистов-эмпириокритиков, гораздо более откровенно говорилось о насилии как о переделке человеческого материала... Классовая борьба – это насилие против всех, кто не идет путем революции, не принимает новый быт, новый культ действительности.

Задача борьбы с мещанством в лице привычного быта осмысливалась как процесс параллельный: это перековка вещей – и перековка людей, суть жизнестроения.

Стилистика лефовцев нередко становилась угрожающей: говорилось, например, что надо «выкорчевывать суставы мещанского жизнеощущения»...⁶²

Если в основе имажинизма никогда не было идеи насилия, то в текстах лефовских авторов допускалось (в самой глубине), что всякую непокорную индивидуальность можно и нужно сломить –

ради торжества нового быта: «Они забывают, что социально-психологический фактор (старого быта. – А. Ю.) обладает чрезвычайной живучестью и стойкостью стихийного порядка и что всякое искусство, не преодолевающее этого фактора *хотя бы самым грубым и жестоким для индивидуальной целостности способом* (курсив мой. – А. Ю.) – только укрепляет пассивную сопротивляемость»⁶³.

Нет, никто прямо не говорил о физической расправе, но никто из левовцев не говорил и о компромиссе⁶⁴ со старым бытом: «Пропаганда ковки нового человека по существу является единственным содержанием произведений футуристов, которые вне этой направляющей идеи неизменно обращались в словесных эквивалибристов...»⁶⁵. А что в результате? Должна появиться «классово-полезная человеческая личность»⁶⁶.

Интересно, что предлагалось «бить» по старому быту, по старым вещам, чтобы внести в жизнь новые вещи, новых людей. Старую зависимость от старых вещей левовцы считали рабской, и в силу разных причин – трудно преодолеваемой. Поэтому борьба носит затяжной характер.

Бытом, сиречь пошлостью (в генетическом значении этого слова: «пошло есть», т. е. установилось) в субъективном плане назовем мы строй чувствований и действий, которые автоматизировались в своей повторяемости применительно к определенному социально-экономическому базису, которые вошли в привычку и обладают чрезвычайной живучестью. Даже самые мощные удары революции не в состоянии осязательно разбить этот внутренний быт, являющийся исключительным тормозом для вбирания людьми в себя заданий, диктуемых сдвигом производственных взаимоотношений. И бытом же в объективном смысле назовем тот устойчивый порядок, и характер вещей, которыми человек себя окружает, на которые, независимо от полезности их, переносит фетишизм своих симпатий и воспоминаний и наконец становится буквально рабом этих вещей⁶⁷.

Быт прежний объявлялся силой реакционной, в нем комфорт – ради комфорта: это самоцель. Новые вещи должны внести в жизнь человека новые переживания, но парадоксально, что авторы не могли предложить, в силу своей же концепции утилитарности, ничего, кроме новых вещей: максимальная «одухотворенность» в такой ситуации – само производство. И потребление ради потребления...

Должен создаваться человек-работник, энергичный, изобретательный, солидарно-дисциплинированный, чувствующий на себе

веление класса-творца и всю свою продукцию отдающий немедленно на коллективное потребление⁶⁸.

В борьбе с прежним мещанством, в котором была значима личность, стремящаяся к самоутверждению, возникла целая концепция жертвенности, – не своего личного бессмертия ищет новый человек нового быта, а реального бессмертия «Мы», устремленного к победе «производственного коллектива».

Самоутверждение мещанское, начиная от визитной карточки на двери дома до каменной визитной карточки на могиле, ему чуждо; его самоутверждение – в сознании себя существенным винтом производственного коллектива. Его реальное бессмертие – в возможном сохранении своего собственного буквосочетания, но в наиболее широком и полном усвоении его продукции людьми. Неважно, что имя забудут, – важно, что его изобретения поступили в жизненный оборот и там рождают новые усовершенствования и новую тренировку⁶⁹.

Ненавидели особенно все, что в старом и новом быте было стихийным и неорганизованным, поэтому образцом считалась «американизация личности», когда параллельно растет и организованность производства, и организованность человека на производстве: «Бухгалтерский пафос, строгий контроль и учет каждого золотника полезного действия, “американизация” личности, идущая параллельно электрификации промышленности – диктуют переplавку страстного трибуна, умеющего резким взрывом порвать стихийный сдвиг, в *деловито-рассчитанного контроль-механика* (здесь и далее курсив мой. – А. Ю.) нового периода революции. И основную ненавистью этого нового типа должна быть ненависть ко всему неорганизованному, косному, стихийному, сиднем-сидячему, деревенски-крепкозادому. Трудно ему любить природу прежней любовью ландшафтника, туриста или пантеиста. Отвратителен дремучий бор, невоzделанные степи, неиспользованные водопады... Прекрасно все, на чем следы организующей руки человека...»⁷⁰.

Имажинисты, культивируя эстетику прошлого в мечтах о национальном Ренессансе, по мнению лэфовских авторов, превращали эстетику в орудие «классовой самоорганизации».

Великая революция Российская выдала вам (лэфовцам. – А. Ю.), – нехотя, и с ужимками, правда, великую доверенность: проводить революцию в духовном быту; создать армию иконоборцев; ломать храмы буржуазного искусства; бикфордовым шнуром опоясывать святыни

божественного вдохновения; вдребезги бить крашенные горшки эстетики; дегтем обмазывать белоснежных лебедей романтики; мокрой шваброй вымести дряхлую паутину уютного сентиментализма⁷¹.

Любопытно, что левовцы были категорическими противниками теории отображательства в литературе и поэзии. Это странно, потому что культу действительности присуща такая установка. Однако это только общее правило, бывают и контекстуальные исключения. Новая экономическая политика возродила такие формы действительности, с которыми левовцы не могли никак согласиться. Нэповские реалии действительности они рассматривали как временное отступление пролетариата – и не за горами, надеялись они, полное уничтожение уродливых картин возрожденного капитализма. Вот поэтому идея «отображательства» считалась классово-чуждой и реальная действительность в их умах располагалась не в настоящем, а в будущем.

Романтизм – основа художественной культуры имажинизма

А. Мариенгоф связывал эстетику прекрасного с романтизмом («сам романтик и посему старых романтиков огорчать не хочу»). В статье «О каноне» А.К. Топорков под псевдонимом Югурта сетовал, что «романтика превратилась в халтуру, в некий побочный заработок, в весьма дешевую спекуляцию продуктами весьма дешевого производства»⁷². В статье «Великолепная ошибка», опубликованной во втором номере «Гостиницы» (1923), В. Шершеневич полемически заострял вопрос о романтизме – его ведь страшно стыдятся левовцы: «Говоря открыто: футуристы во главе с Маяковским ушиблены манией всемирного масштаба и всероссийского пафоса. Теория благого мата, думание басом – вот ныне канон поэтического творчества. К числу таких молниеносно ниспровергаемых положений является стыд их быть причисленным к романтикам»⁷³. Свое недоумение он пытался выразить образно, как и полагалось имажинистам: «Романтизм в высшей степени напоминает укротителя в клетке со львами обыденщины». Или: «Я почти сержусь, когда пишу эти строки. Оправдывать романтизм для меня это то же самое, что доказывать необходимость ежедневного умывания».

Подойти без романтики ко всему – это значит подойти не поэтиному. Что же? Просто бытописать? Протоколировать? Только

разлагать? Анатомия? Конкуренция газет? Соперничество с писарем? Уничтожить идею смерти значит уничтожить смерть – говорил первый футурист. Перефразируем: постичь идею романтизма значит стать романтиком. Романтизм не в воспевании любви к ней (если она даже революция или машина). Романтизм в нужности любви. Золотосты и красносты еще не значит нужносты⁷⁴.

Для Шершеневича романтическая величественность определялась «великими темами» литературы: «Да! Демонов нет! Поэт это знает, но поэт, не верящий в цвет адского плаща демона, не поэт»⁷⁵.

И уж совсем по-модернистски: «Скрещиваем шпаги для того, чтобы доказать жаром руки и холодом стали Прекрасные черты Романтического»⁷⁶.

Отношение к быту – тоже романтическое: его надо «идеализировать и романтизировать». Романтизация – это «борьба за новое мироощущение», имажинисты – не протоколисты быта, а его преобразователи.

Лефовский футуризм как антиромантизм

Романтизм высмеивался! Он был невозможен в утилитарном искусстве. Н. Чужак писал в статье «Футуризм и пассаизм»: «В то время как все вздыхающие по вчерашнему искусники, обслуживая потребности эпо-читателя и свою собственную потребность в отхождении от противной реальности, уносятся в область сладких вымыслов, – от кокаинной мистики до революционного любезного быта, болтологически-февральско-революционного, чеховско-интимно-интеллигентского и кондово-старо-мещанского (тоже, по своему, “строят” мечтаемую жизнь), – в это время новое искусство, контактирующее каждое дыхание свое с биением сердца класса работников, определенно упирается в непосредственное, земляное строение вещи»⁷⁷. Пассаизм рассматривался как культ прошлого и на страницах журнала он всегда подвергался разоблачительной критике. В статье «О футуризмах и футуризме (по поводу статьи тов. Троцкого)» Н. Горлов довольно точно фиксировал расцвет романтизма в русской культуре – по времени, но типологически связывал его с социальной реакцией, как в России, так и во Франции:

Если мы вспомним печальной памяти 1907–1910 гг., когда наша интеллигенция устремилась к личному и бесконечному, и примем во внимание, что расцвет романтики во Франции совпал с эпохой рестав-

рации, а также и то, что у нас в России романтика тоже расцвела «под скипетром и державой» (Жуковский), то социальная природа романтического «бунта» станет нам ясна⁷⁸.

Имажинизм как самоопределение

Глубочайшее самоопределение имажинизма – в самом факте появления на страницах «Гостиницы» философской статьи Сигизмунда Кржижановского под названием «Якоби и Якобы», посвященной сложнейшей проблеме «Я» в первоначальной фазе существования личности⁷⁹. Для материалистов сама философская постановка такого вопроса рассматривалась как злейший субъективизм, острием своим направленный против философии коллективизма. Если иметь в виду идею национального Ренессанса, собирающего вокруг себя культурные достижения разных эпох, то статья, пусть и очень сложная, выражала собой глубинное настроение имажинизма в присвоении самых существенных оснований идеалистической немецкой философии, необходимой как теоретический фундамент в обосновании смысла литературного творчества.

Итак, «Якобы» – это «сумма всех человеческих смыслов». Если быть точнее, писал автор, то отец «Якобы» – сам философ Кант, а если еще точнее – его примечание к «Критике разума». По существу, в статье речь шла о главном философском споре начала двадцатого века, волновавшем позитивистов и модернистов: о пресловутой кантовской «вещи в себе», о познаваемости или непознаваемости мира.

Эмпириокритики (позитивисты) отстаивали познаваемость «вещи», модернисты говорили о мистических основаниях познания. Здесь же вопрос полемически заострялся таким образом, что на первый план выводилось первичное усмотрение сущности, некая первичная интуиция как первичный опыт личности – и опыт полноценный.

Полемика обозначалась так: возьмите слово «мир» и приставьте к нему «якобы» – и возникнет метод Канта: «То, что вы назвали в своих якобы системах “миром” есть только “якобы-мир”»⁸⁰.

В спор вступал философ Якоби. Притча о нем гласит, что он первый написал «якобы» с кавычками. Так возникла проблема двух «Я»: Якоби и Якобы.

Якобы, обращаясь к Якоби, говорит:

Будем откровенны: так ли уж ты твердо уверен в том, что твое так называемое «я» не есть просто сокращенное суждение: «я – как-бы» –

«якобы»... или «как бы я». Ergo не я твой сон (как хотелось бы тебе), а *ты мой сон*, точнее, мое искажение, возникающее лишь как легко излечимая «болезнь языка». Впрочем, извиняюсь за грубо потревоженную иллюзию – и пусть нас примирит ветхий стих Пиндара: «Наз тени сон привиделся: тот сон был назван человеком». Я ведь тоже *не совсем* существую и охотно откликаюсь на зовы «тень» – «сон» – «призрак»⁸¹.

Якоби-философ возмущен самостоятельностью Якобы: «Довольно балагана! – Сквозь все твое хихиканье и путаницу противоречий мне видится ясно одно: ты хочешь уверить меня в своем бытии... Ага... Значит ты как бы постулат о “я”? требование реализации? Постой, – это очень похоже на теорию Фихте о становлении “Я”?..»⁸².

В самом деле, эта постановка вопроса – фихтеанская, не иначе. И связана она с работой великого немецкого мыслителя «Очерк особенностей наукоучения по отношению к теоретической способности» (1795). В этой и в последующих трудах Фихте постулировал факт *первоначального толчка*, вызывающего деятельность личности. В отличие от Канта Фихте утверждал свободу человеческого духа как первооснову во всякой рефлексии, – его учение коренным образом противостояло всем философским («догматическим») учениям, утверждавшим принципиальную зависимость человека от вещи! Фихте полагал, что умственная деятельность («интеллигенция») сама для себя есть опыт схватывания сущности вещи. Это была радикальная критика теории «вещи в себе», ибо в ней допускался неестественный процесс перехода из неузнанного состояния в узнаваемое. Между тем «интеллигенция» в ее античном значении и в фихтеанском понимании, как интеллектуальная деятельность, есть не только деятельность, но и созерцание этой деятельности. Иначе говоря, *только идеализм* фихтеанского толка правильно решает вопрос об отношении «Я» к миру вещей: опыт произведен от усмотрения сущности в акте созерцания, в первичном акте схватывания сущности вещи. «Интеллектуальное созерцание» – первичный мир опыта. Кант же отвергал неразрывность, двуединость чувственности (созерцания) и рассудка: таким образом он формулировал разобщенность «Якобы» и Якоби. Согласно Фихте, «Я есть Я»: это означает, что человек *сам порождает свое бытие* в акте созерцания, Фихте отождествлял таким образом сознание и самосознание. Эта позиция была очень близка ранним модернистам, которые в существовании идей видели первоначала бытия.

В конце диалога, придуманного Кржижановским, философ примиряется с Якобы – де-факто признавая правоту Фихте:

«...Я, Фридрих Якоби, приемлю “Якобы”». Это означало, что имажинисты весьма глубоко рассматривали предпосылки своей творческой деятельности, но говорить о них прямо и доступно, по всей видимости, опасались. Ибо фикштеанская модель свободы личности от вещного мира, свободы от материальности, будто бы первичной по отношению к сознанию и личному опыту, как нельзя лучше обосновывала имажинистские формулы о внеклассовом характере творимой ими культуры, – ведь в основе фикштеанского учения была идея о ценности личности и творчества! Но, подчеркнем еще раз, нигде на страницах «Гостиницы» об этом прямо не говорится, это не манифестируется, противостояние с ЛЕФом приучало имажинистов к осторожности. Но и то, что такая статья была опубликована на страницах «Гостиницы», вызывает искреннее удивление.

В статье «Так не говорил Заратустра» В. Шершеневич продолжил этот философский диалог, пытаясь иносказательно, через притчу, описать представителя каждого литературного лагеря.

Условно первый, натуралист:

Я видел несколько дней назад человека, который ожесточенно копал землю, особенно там, где было побольше навоза, и совершенно не заботясь о своих позах, ковыряя в носу, поскольку ему позволяли разговоры о тейлоризме, преподносил окружающим куски навоза с таким выражением, как будто это были бриллианты⁸³.

Второй – символист:

Проходя мимо окон другого дома, со свойственной мне невоспитанностью, я заглянул в окна. Там сидел обложенный книгами лысый господин и приготавливал в реторте какой-то сплав. Увидав мою тень, он восторженно закричал: нашел! В этом камне отражается небо! Посмотрите: иные миры отсвечиваются в нем! И потом спохватившись спустил жалюзи и закрывая окно добавил: – не только небо, но и чернь революционная отражается в нем. Я слышал, как жена его, облеченная в солнце, назвала его: символистом.

Третий – футурист:

Я видел третьего человека, который обнимал буфера трамвая, потом шины авто и кричал: слава тебе, революция! Я славлю машины!.. По странному виду этого человека я сразу понял, что это был футурист⁸⁴.

Наконец, последний – имажинист, который *не принимает мир вещей*, как мир первичный:

И вдруг я увидел четвертого. Он сидел на рельсах трамвая и штопал чулок своего счастья... Безумный! Трамвай раздавит тебя! – крикнул я ему. Но он спокойно отвечал: – Трамваи проходили сквозь меня три тысячи лет.

Он говорил мне:

– Я зашел в мир окрестить вещи. Я одинаково люблю и черную краюху хлеба и вздыбленный трамвай. Но любя вещи, я знаю, что настанет день революции, и *я не верю вещам* (курсив мой. – А. Ю.). Я ничему не верю. Мир перерожден, и я, как Фома, подхожу к предметам и вещам и людям и чувствам, чтобы персты моего познания вложить в раны нового бытия⁸⁵.

Да, он романтик, и не видит в том ничего дурного: «Я вижу тень будущего, я влюблен в будущую тень». Что можно понимать как неприятие всякой утилитарности бытия.

– Что не любишь ты? – спросил я его.

– Я не люблю целей!

Мыслительная деятельность мудреца-имажиниста парадоксальна.

Вижу, вижу всю однобокость нашей эпохи. Вижу, как миллионы людей делают свое маленькое дело вместо того, чтоб делать одно большое, ибо не понимают они, что нам свойственно новое чувство красоты. Красота ОГРОМНОГО! Прекрасно все, но как только Нечто обращается в цель, оно мельчает, из Нечто превращается во Что-то. Все, что имеет конечную цель все это нужно, а нужное никогда не бывает прекрасным, потому что только прекрасное бывает нужным. Стоит мудрецу установить истину, как все человечество начинает дуть в ту же сторону и истина превращается в трафарет. Истина, захватанная руками человечества, уже не истина, а правда. Читаю только между строк мира. Любовь, о которой знает третий, уже не любовь, а отношения, имеющие определенную номенклатуру. Истина это та же любовь. Она остается девственной только с глазу на глаз с мудрецом⁸⁶.

Бытие – это самосознание личности, это не мир вещей, а мир созерцания вещей, как говорил великий Фихте:

– Ты мудрец? – воскликнул я.

– Глупец! Не называй меня так! Я не хочу превратиться в умного человека!

– Я люблю пасмурную погоду и солнечный день, но я не люблю ни облаков, ни солнца! Я не хочу никому светить и не хочу, чтоб кто-нибудь светил мне.

– Я понимаю тебя! Ты новый отпрыск эпикурейца!

– Нет, я машинист, стоящий около машины и знающий, что машина работает правильно. Мое спокойствие построено не на лени, а на знании. <...>

– А что ты будешь делать на рельсах? Долго ты будешь здесь сидеть?

– Я вяжу чулок человечеству. Человечество подобно Ахиллесу имеет свою незащищенную пятую, и я хочу на эту пятую надеть чулок.

– Какова же эта пятая?

– Любовь плыть против течения, происходящая от бессмертной человеческой глупости.

– А ты всегда плывешь по течению?

– Я никогда не плыву. Течение плывет против меня⁸⁷.

Имажинизм в литературном плане определял себя так – это «революция в словесности, которую можно рассматривать как сближение книжного языка с простонародным наречием». Об этом писал Иван Грузинов в статье «Пушкин и мы»⁸⁸. Поразительно, в какой мере модернистский мотив «ослепительного Да!», ничего не отвергавшего, как в собственной культуре, так и в культуре мировой, повторился в опыте имажинистов. В статье Грузинова утверждалось: «Как это ни странно покажется с первого взгляда – ближе всего нам древнерусский книжный язык, словесность докантемировской эпохи. Готовы вернуться к истокам: пленительна – эта величавость, велеречивость, недвижная торжественность Слова о полку, язык летописей, Прологов и Патериков»⁸⁹.

Таким было мироощущение поэта, писателя, творящего «революцию словесности».

Национальный характер творимой культуры противопоставлялся культуре космополитической (куда, при желании, можно было отнести и мировую пролетарскую революцию). Имажинист – творец нового языка новой культуры, которую он выводил из своего самосознания и мироощущения: в фихтеанском единстве созерцания и деятельности. Грузинов так и говорил – мы не стилизуем, не допускаем и мысли о стилизации: «просто-на-просто это свойственный нам язык. Он незаменим, если нужно выразить трагическую величественность наших дней»⁹⁰.

Творческая практика каждого имажиниста в отдельности есть стихия, слагающаяся из двух элементов – книжный язык и просто-

речь. Каждого имажиниста можно определять по степени преобладания первого или второго элемента в его творчестве. Расположим их по степени приближения к просторечью: Ивнев, Шершеневич, Эрдман, Мариенгоф, Грузинов, Есенин.

В полемике с ЛЕФом-журналом имажинисты нередко говорили о природе искусства, в котором не должно быть диктата общественности, равно как и добровольной приверженности «политграмоте». В статье «В хвост и в гриву» В. Шершеневич писал прямо:

Товарищи, вы занимаетесь в области искусства (презренного, ненавистного вам искусства!) только тем, что цитируете напрапалую марксистов. Прямо конкурс на поэтическую политграмоту. И за всем этим не видите в этой политграмоте того, что имеет прямое и непосредственное отношение к искусству: классовая борьба есть эпоха переходная и в момент победы пролетариата она невольно сама собой ликвидируется, ибо будут не классы, а класс. И второе: ежели искусство протоколирует, а не организует, т. е. не забегает вперед, то ему место даже не в ЛЕФе, а непосредственно у тов. Сосновского, на страницах сегодняшней «Правды»⁹¹.

Всякому бытописательству, всякому примату «вещи» над духом следует положить конец, считал В. Шершеневич, ибо «бытописание сводит роль поэта до роли станционного смотрителя, отмечающего в книге: поезд такой-то прошел во столько-то минут. Задача необходимая, но право, если и не отметится час, то поезд от этого не остановится. Мы переживаем эпоху, когда революция материального, брюхового порядка заканчивается, когда *начинается революция духовная* (курсив мой. – А. Ю.)»⁹².

Материалом искусства становится не быт как таковой а само будущее, «не поддающееся фиксации бытовым способом».

В полемике с разными направлениями пролетарской культуры Иван Грузинов высмеивал левовцев как людей, которые сознательно сами себя оскопили и перестали быть творческими людьми:

Ни одного живого места: Плеханов сказал *а*, пролетарские повторяют *а*, Богданов говорит *б*, пролетарские и т. д. Ни одного оригинального поворота головы, ни одного момента революции, священного по своему, так, чтобы хоть один раз можно было сказать: вот молодец, а я то и не заметил⁹³.

Имажинисты утверждали своим именем то, что все (или почти все пролетарские писатели и поэты) отрицали в своей основе

значимость самостоятельного творческого образа... Вот почему имажинисты максимально стремились осуществить духовную революцию – чтобы стать не направлением в искусстве только, но творческим мировоззрением революционной эпохи, обращенной в будущее.

В связи с этим возник интересный вопрос о каноне в искусстве. Казалось бы, имажинисты должны быть против канона, ах нет!

Канон необходим!

Новый канон!

В статье «О каноне» А.К. Топорков писал, что канон это не шаблон, а внутренняя культурная память, в которой передается по наследству «вечное задание», некая *идеальная сущность*, которая подвергается осмыслению в новых, в том числе революционных, событиях. «В положительном своем значении он есть прежде всего сила направляющая», – писал Топорков (под псевдонимом Югурта). Собственно, поэтому и возможен русский Ренессанс как явление «собирательное».

В самом деле, раз канон понимается как *идеальный закон* и направляющая сила, он тем самым включает бесконечный никогда не могущий быть исчерпанным ряд своих проявлений, каждый из которых, не достигая и не выражая сполна идеального требования, по-своему стремится воплотить в себе норму.

Разумеется, неизбежен вопрос о свободе творчества, о свободе личности, и Югурта дал исчерпывающий комментарий, который абсолютно ничем не отличался от традиционных метафизических размышлений прежних модернистов, в том числе покинувших родину.

...Одно заблуждение подлежит искоренению, это предвзятая мысль о том, что канон противоречит так называемой свободе, с этим словом вообще связано много недоразумений. Конечно, канон в корне противоположен свободе романтической, всецело отрицательной и хаотической, свободе от всего, которая знает один завет: хочу, чего хочу. Подобную свободу канон отрицает всецело. Приятие канона влечет за собою признание строя лада космоса, устава, ибо он устрояющий и организующий принцип по существу; и в этом смысле он за свободу положительную, утверждающую и созидующую.

Во втором номере за 1923 г. в «Гостинице» была опубликована «Почти декларация». В ней иронически обыгрывались проформы

лефовцев, но вместе с тем и вполне серьезно говорилось о том, как понимают имажинисты свои «задания», имеющие прямое отношение к «канону». Устанавливаются, по крайней мере, два параметра, которые ни у кого из издателей «Гостиницы» не вызывали возражений. Ибо статья – коллективная.

Итак, утверждалось, что «в имажинизм вводятся, как канон: психология и суровое логическое мышление».

Имажинистов не устраивало «футуристическое разорванное сознание».

И еще – относительно формы.

«Форма, как закон» – это «романтическое осознание настоящей эпохи и перенос революционного сознания на прошлые эпохи, если пользуешься ими как материалом». Нужно двигаться не «назад к Пушкину, а вперед от Пушкина»⁹⁴.

Лефовский футуризм как самоопределение

Нет внеклассового искусства! Всякое искусство определяется интересами классов, поэтому в современной футуристам действительности противопоставлены друг другу ЛЕФ и имажинизм: «...противопоставлены друг другу буржуазное мироощущение: индивидуализм, идеализм, дуализм, национализм – коллективизму, материализму, монизму и интернационализму революционного мирочувствования»⁹⁵.

В статье И. Гроссмана-Рощина «Социальный замысел футуризма» манифестировался «катастрофический разрыв» с прошлым. Ибо это не только отбрасывание от себя прошлого, но и создание в новой действительности новой «системы оценок»⁹⁶.

Что исключала новая система оценок? Главные враги ее – «дуализм и психологизм». Прежняя феодально-буржуазная культура обвинялась в том, что «была проникнута дуализмом»: «душа и тело – или двойственность оценок – низшее и высшее, временное и вечное, обыденное и праздничное»⁹⁷. Эта культурная парадигма оказывалась враждебной новой системе оценок. Ибо ей совершенно чуждо стремление преодолеть «закон тяготения и как бы снабдить душу крыльями, помогающими не только созерцать, но и приобщиться к миру вечных идей»⁹⁸. Лефовцы не хотели видеть в искусстве «сон дивный, лучезарный, уносящий из пределов ограниченного, целостной красоты не вмещающего, мира»...

Новые оценки со стороны новой культурной парадигмы обьязаны ликвидировать «психологическое направление в искусстве»:

«Любовное и сосредоточенно-внимательное погружение в анализ индивидуальных переживаний чуждо левому искусству. Нарциссизм, гамлетизм изгоняются»⁹⁹.

Разум необходимо утверждать на признании «абсолютной необходимости», но к какой же категории «необходимости» отнести человека?

Футуристы шли дальше Луначарского, называвшего человека «прекрасным полу-совершенством»: они определяли человека как «инвалида бытия» (по отношению к абсолютной необходимости), «полу-призрака», «полу-тень»¹⁰⁰. Конечно, человеку дан разум, он может «постигнуть реальную необходимость и актом интеллектуальной любви приобщиться к совершенному и свободному», однако ему мешает преодолеть «убожество и призрачность своего позорного существования»... психологизм.

Человек воспринимает толчки и воздействия из внешней среды. Эти воздействия отлагаются в его душе в виде желаний, страстей, хотений, чувств, скорби и радости. Бесчисленное множество этих воздействий затрудняет их учет и у человека создается иллюзия свободного хотения и свободного желания. Эта пагубная иллюзия служит почти непреодолимым препятствием к тому, чтобы разум устремился на познание свободного и внутренне необходимого. Психологический субъект – вдвойне раб: *он обоготворяет тень теней – душевные переживания* (курсив мой. – А. Ю.)¹⁰¹.

Лефовский футуризм нашел формулу для определения вражеской позиции имажинизма в творчестве: «Строго говоря, психологизм – это и есть цельное и законченное мировоззрение индивидуализма». Вот почему они вслед своего великого пролетарского учителя, А.М. Горького, видели идейного противника в Художественном театре: «...нигде этот психологизм не нашел такого яркого выражения, как в Художественном театре, в игре Комиссаржевской. Если расшифровать, по своему внутреннему замыслу, эту игру, то получится нечто вроде декларации прав индивидуализма»¹⁰².

Ибо «футуризм органически враждебен замыканию личности в самой себе».

Футуризм борется непримиримо и смертельно с теологией, метафизикой, с блоковским платонизмом. Поскольку *поэтическая теология пытается внушить человеку отвращение к вещи, как дьяволу, искушающему и зовущему к низменным наслаждениям* (курсив

мой. – А. Ю.), ровно постольку Маяковский дерзко, воодушевленно приветствует вещь, земную радость, полнокровную, избыточную, насыщенную земную жизнь¹⁰³.

Лефовское самоопределение вызывало ожесточенную критику не только со стороны имажинистов, которых не устраивал утилитаризм, заклятый враг метафизики, – против футуристического учения о «жизнестроении» резко выступил журнал пролетарских писателей «На посту»¹⁰⁴, начавший издаваться с июня 1923 г. По крайней мере, до ноября 1923 г.¹⁰⁵ полемика с ЛЕФом была едва ли не главным занятием журнала по борьбе с теми, кто надевал на себя слишком много пролетарских одежд, а выглядел по-прежнему как бунтарь-футурист, в желтой кофточке, из дореволюционных времен. Что не устраивало напостовцев в философии лефовского утилитаризма? То, что лефовцы не решались убить искусство *сразу*, – они допускали временный переход к самоуничтожению, а значит, – на взгляд схоластов-марксистов, – допускали ситуацию, когда искусство продолжало быть самим собой, не сливаясь с классовым мировоззрением пролетариата, не становясь безоговорочной служанкой идеологии.

В статье «Как ЛЕФ в поход собрался» Семен Родов утверждал, что футуризм сделал свое дело – довел буржуазное искусство до саморазрушения, и эту роль «бунтарей ради бунта» футуризм выполнил. Теперь же, когда возникла марксистская наука, говорить о «жизнестроении» с точки зрения футуристов – значит отрицать марксизм, внося в понимание искусства отсебятину, окрашенную буржуазными предрассудками: «...вся **беда футуризма** (здесь и далее выделено автором статьи. – А. Ю.) в том, что они **не футуристы**, что в СССР **нет футуризма**. И худшее в этой беде то, что, **отойдя на практике от футуризма, Лефовцы** еще судорожно цепляются за свою **вредную**, отжившую, **осужденную** революцией **теорию**»¹⁰⁶.

Основой критики футуристического учения об «искусстве жизнестроения» была концепция напостовцев о первичности пролетарского *содержания* искусства, а под «содержанием» понималась исключительно классовая идеология, подчиненная марксистскому учению о классовой борьбе.

В статье «По ту сторону литературных траншей» Л. Авербах признал, что наиболее близко к журналу «На посту» стоят три литературные группировки: «Октябрь», «Кузница» и «ЛЕФ». Однако полному единодушию с ними мешают разногласия, которые можно преодолеть только в дискуссиях. О Лефе было сказано: «“Леф” – орган левого фронта, ни в коей мере не является органом действительно крепко-идеологически спаянной группы. Это конгломерат,

показывающий, что футуризм переживает сейчас процесс коммунистического перерождения. Наиболее талантливые представители его “практики” все более и более отбрасывают от себя (быть может, субъективно не всегда осознавая это, но объективно это – несомненно) “чистых” футуристов, имеющих все права на историческую преемственность по отношению к дореволюционному футуризму – Каменских, Крученых и проч. – и не имеющих ничего общего с пролетариатом. Лефовские теоретики, злоупотребляющие марксистской терминологией примерно в такой же степени, как учащиеся совпартшколы первой ступени, – усвоившие терминологию, и всячески свою “ученость” высказывающие, – насквозь метафизичны»¹⁰⁷.

Футуристы были против принципа отражения в искусстве жизни, ибо, борясь с имажинистами, они утверждали ценности не переходного периода, а будущего коммунизма. Напостовцы, отрицавшие всякую самостоятельность искусства (даже в переходном периоде), говорили о том, что необходимо в самом содержании искусства отражать пролетариат, его быт и борьбу за светлое будущее. Ибо нет никакой другой задачи у пролетарского искусства, кроме задачи идеологической.

Футуризм не одобряли за то, что его представители не сливались полностью с коллективом, но, напротив, как Маяковский, ставили себя, как личность художника-бунтаря, в центр жизни. Этот «пережиток» раннего футуризма рассматривался как проявление неизжитого буржуазного индивидуализма. Г. Лелевич в статье «Владимир Маяковский (беглые заметки)» писал: «...Маяковский – тоже злейший враг мещанства, мещанских норм, мещанских законов и традиций. Его довоенные стихи “Гимн обеду”, “Гимн взятке” и множество других злобно и презрительно издеваются над мещанством, протестуют против его засасывающей власти, но протестуют так, как способен протестовать одинокий чужак, а не сознательный боец коллектива»¹⁰⁸.

Представитель богемы, деклассированный интеллигент, изнервничавшийся индивидуалист становится провозвестником социального переворота. Становится искренне. Но ветхий Адам остался. Индивидуализм, основное свойство одиночки, остался. Маяковский принял пролетарскую революцию по формулам: я, Маяковский, и революция: я, Маяковский, и пролетариат¹⁰⁹.

Полемику двадцатых годов нелегко понять, но все же прослеживается логика противоборства. Там, где не умерло искусство как искусство, происходил ожесточенный спор о нем («Гости-

ница» – «ЛЕФ»); там, где уже не было места искусству, заранее включенному в идеологическую систему, спор шел о классовом «содержании» («На посту» – «ЛЕФ»); там, где происходило политическое соперничество политически равных групп за влияние на всю пролетарскую литературу («На посту» – «Красная новь», в лице А.К. Воронского, поддерживавшей попутчиков¹¹⁰), спор шел о жизни и смерти самих направлений. И битва эта предполагала сложные интриги, временные союзы, коалиции ради одного – удержать литературный Олимп в своих руках...

Имажинизм – это модернизм советского времени, утверждавший идеалистическую методологию творчества в своей идеологии национального Ренессанса; типологически этот евразийский Ренессанс был ближе модернизму славянофильскому (времен Первой мировой войны), однако сами имажинисты *категорически* отрицали славянофильскую «почвенность». В отличие от модернизма Первой русской революции, еще не расколотого на два лагеря (славянофильский и космополитический), имажинизм прямо не декларировал ницшеанскую философию свободы личности, хотя в скрытом виде эта философия не только не отрицалась, но находила своеобразное продолжение в индивидуалистической философии Фихте.

Лефовский футуризм – это программа политической модернизации, своими семантическими корнями восходящая к философии позитивизма первых эмпириокритиков (Богданова, Базарова, Луначарского, Горького и др.). Однако в отличие от эмпириокритизма лефовский футуризм дошел в своей идеологии до крайней степени утилитаризма, создав настоящую «теорию вещи», которая страстно стремилась уничтожить не только идейную почву творчества, но и само искусство, растворив его в «жизнестроении» нового общества. Эта модернизация имела классовый характер и предусматривала насильственную ломку старого уклада жизни вплоть до «перековки» не только вещей (быта), но и людей (человечества).

Модернизм не умирал, потому что не признавал надличной санкции в виде примата общества, класса, партии в литературном (художественном) творчестве; позитивизм не утихал, а расширялся невиданными темпами, превращаясь в концептуальный утилитаризм, потому что строил себя исключительно на постулировании надличных санкций и полном умалении индивидуального духа. Модернизм уповал на сверхличное (романтическое начало) в метафизике и пытался примирить откровенный идеализм в своем творчестве с пролетарской революцией. Футуризм не мешал своим ярким представителям создавать творческие шедевры, но при этом он идеологически устремлялся к растворению искусства в жизни.

Примечания

- ¹ «ЛЕФ» выходил в свет до 1925 г. включительно. В 1927–1928 гг. публиковался «Новый ЛЕФ» (*Светликова И.Ю.* Новый ЛЕФ: История и литературно-художественные концепции: Дис. ... канд. искусствоведения. СПб., 2001 [в рукописи]; см. также: *Stephan H.* “LEFT” and the Front of Arts. München: Sagner, 1981.
- ² Гостиница для путешествующих в прекрасном. 1922. № 2. Ноябрь.
- ³ *Третьяков С.* Откуда и куда? // ЛЕФ. 1923. № 1. С. 200.
- ⁴ *Тастевен Г.* Футуризм: (На пути к новому символизму): С приложением перевода главных футуристических манифестов Маринетти. М.: Ирис, 1914; *Крученых А.* Наш выход: К истории русского футуризма. М.: Литературно-художественное агентство «РА». 1966; *Он же.* Жизнь и смерть ЛЕФа: Сценарий-эскиз // Искусство кино. 1994. № 7. С. 122–127; *Мириманов В.Б.* Русский авангард и эстетическая революция XX века: Другая парадигма вечности. М.: РГУ, 1995; Русский футуризм: Теория. Практика. Критика. Воспоминания. М.: Наследие, 1999; Литература факта: Первый сборник материалов работников ЛЕФа. М.: Захаров, 2000; *Загорец Я.Д.* Периодические издания ЛЕФ: история, теория и практика: Автореф. ... канд. филол. наук. М., 2012.
- ⁵ «Раньше их привлекали белоснежные горы прекрасного, теперь же из ста путешествующих девяносто восемь предпочитают благоустроеннейшие курорты в стране утилитарного» (Гостиница. 1922. № 1).
- ⁶ Гостиница. 1922. № 1.
- ⁷ Там же.
- ⁸ ЛЕФ. 1923. № 1. С. 3.
- ⁹ Там же.
- ¹⁰ Там же. № 3. С. 159.
- ¹¹ Н.Ф. Чужак в статье «Под знаком жизнестроения (опыт осознания искусства дня)» так объяснил начальную генеалогию ЛЕФа или, попросту говоря, историю «кто кого родил»: «Футуризм родил производничество. Производничество (беря в грубой схеме) родило конструктивизм. Конструктивизм родил биомеханику. Биомеханика – по логике инерции – родила эксцентризм, циркизм, трюкизм и всякие прочие маленькие измы, созданные для того, чтобы оправдывалась поговорка о расстоянии между великим и смешным. Прибавьте сюда агит-искусство, не изжившее еще себя, но опустившееся до кабаре и частушки: прибавьте искусство рекламы» (ЛЕФ. 1923. № 3. С. 32).
- ¹² Там же. С. 26.
- ¹³ Там же.
- ¹⁴ Там же.
- ¹⁵ *Чужак Н.Ф.* По знаком жизнестроения // Там же. С. 12.
- ¹⁶ Там же. С. 13.
- ¹⁷ Там же.

- 18 Там же. С. 35.
- 19 Там же. С. 37.
- 20 Там же. С. 39.
- 21 *Третьяков С.* Откуда и куда? С. 197.
- 22 *Чужак Н.* К задачам дня (статья дискуссионная) // ЛЕФ. 1923. № 2. С. 145.
- 23 *Чужак Н.* Под знаком жизнестроения (опыт осознания искусства дня) // ЛЕФ. 1923. № 1. С. 35.
- 24 *Зелинский К.* Идеология и задачи советской архитектуры // ЛЕФ. 1925. № 3. С. 80.
- 25 Там же. С. 94.
- 26 *Б.А.* Овеществленная утопия // ЛЕФ. 1923. № 1. С. 61.
- 27 *Брик О.* В производство! // Там же. С. 105.
- 28 Там же.
- 29 *Арватов Б.* Утопия и наука // Там же. 1924. № 4. С. 20.
- 30 *Чужак Н.* Под знаком жизнестроения. С. 32.
- 31 *Винокур Г.И.* Футуристы – строители языка // ЛЕФ. 1923. № 1. С. 204–213.
- 32 *Брик О. Т.* н. «формальный метод» // Там же. С. 213.
- 33 Там же. С. 214.
- 34 *Винокур Г.* Поэтика. Лингвистика. Социология (методологическая справка) // ЛЕФ. 1923. № 3. С. 109.
- 35 *Тынянов Ю.* О литературном факте // Там же. 1924. № 2. С. 107.
- 36 *Чужак Н.Ф.* Под знаком жизнестроения. С. 37.
- 37 *Мариенгоф А.* Корова и оранжерея // Гостиница для путешественников в прекрасном. 1922. № 1.
- 38 Там же.
- 39 Там же.
- 40 *Брик О.* В производство! С. 105.
- 41 *Третьяков С.* Откуда и куда? С. 199.
- 42 Там же.
- 43 Там же.
- 44 Там же. С. 200.
- 45 *Варст.* О работе конструктивистской молодежи // ЛЕФ. 1923. № 3. С. 53.
- 46 *Арватов Б.* Маркс о художественной реставрации // Там же. С. 84.
- 47 *Маяковский В.В., Брик О.М.* Наша словесная работа // Там же. № 1. С. 40.
- 48 *Левидов М.* О футуризме необходимая статья // Там же. № 2. С. 136.
- 49 *Арватов Б.* Утопия или науки. С. 17.
- 50 *Мариенгоф А.* Корова и оранжерея.
- 51 Там же.
- 52 Там же.
- 53 *Глубоковский Б.* Моя вера // Гостиница для путешественников в прекрасном. 1922. № 1.
- 54 Там же.

- 55 Там же.
- 56 Там же.
- 57 Гостиница для путешественников в прекрасном. 1924. № 1 (3).
- 58 Там же.
- 59 Там же.
- 60 Там же.
- 61 Там же.
- 62 *Третьяков С.* Откуда и куда? С. 193.
- 63 *Третьяков С.* ЛЕФ и нэп // ЛЕФ. 1923. № 2. С. 76.
- 64 «Никакой коалиции между ЛЕФом и старым искусством в его сегодняшнем вредоносном применении быть не может» (*Третьяков С.* ЛЕФ и нэп. С. 78).
- 65 *Третьяков С.* Откуда и куда? С. 195.
- 66 Там же. С. 196.
- 67 Там же. С. 200.
- 68 Там же. С. 201.
- 69 Там же.
- 70 Там же.
- 71 *Левидов М.* Лефу предостережение (дружеский голос) // ЛЕФ. 1923. № 1. С. 232.
- 72 *Югурта (Топорков А.К.).* О каноне // Гостиница для путешественников в прекрасном. 1922. № 1.
- 73 *Шершеневич В.* Великолепная ошибка // Гостиница для путешественников в прекрасном. 1923. № 2.
- 74 Там же.
- 75 Там же.
- 76 Там же.
- 77 *Чужак Н.* К задачам дня (статья дискуссионная). С. 145.
- 78 *Горлов Н.* О футуризмах и футуризме (по поводу статьи тов. Троцкого) // ЛЕФ. 1924. № 4. С. 8.
- 79 *Frater Tertius.* Якоби и Якобы // Гостиница для путешественников в прекрасном. 1924. № 1 (3).
- 80 Там же.
- 81 Там же.
- 82 Там же.
- 83 *Шершеневич В.* Так не говорил Заратустра // Гостиница для путешественников в прекрасном. 1923. № 2.
- 84 Там же.
- 85 Там же.
- 86 Там же.
- 87 Там же.
- 88 *Грузинов И.* Пушкин и мы // Гостиница для путешественников в прекрасном. 1924. № 3.

- ⁸⁹ Там же.
- ⁹⁰ Там же.
- ⁹¹ *Шершеневич В.* В хвост и в гриву // Гостиница для путешественников в прекрасном. 1924. № 3.
- ⁹² Там же.
- ⁹³ *Грузинов И.* Литературные манифесты // Гостиница для путешественников в прекрасном. 1924. № 4.
- ⁹⁴ Почти декларация // Гостиница для путешественников в прекрасном. 1923. № 2.
- ⁹⁵ *Третьяков С.* ЛЕФ и нэп. С. 72.
- ⁹⁶ *Гроссман-Роцин И.* Социальный замысел футуризма // ЛЕФ. 1924. № 4. С. 110.
- ⁹⁷ Там же. С. 111.
- ⁹⁸ Там же.
- ⁹⁹ Там же. С. 112.
- ¹⁰⁰ Там же. С. 113.
- ¹⁰¹ Там же.
- ¹⁰² Там же. С. 114.
- ¹⁰³ Там же. С. 116.
- ¹⁰⁴ В декабре 1922 г. была образована литературная группа «Октябрь», в марте 1923 г. по ее инициативе была создана Московская ассоциация пролетарских писателей (МАПП), и в июне того же года группа «Октябрь» получила свой теоретико-критический журнал «На посту», в первом номере которого определялся такой актив: Л. Авербах, Ашмарин, Демьян Бедный, А. Безыменский, А. Бубнов, Ил. Вардин, Бор. Волин, Г. Деев-Хомяковский, Сергей Ингулов, Исбах, Л. Каменев, П. Керженцев, Мих. Кольцов, Ген. Коренев, П. Лебедев-Полянский, С. Ленман, Г. Лелевич, П. Лепешинский, Юрий Лебединский, Дмитр. Мануильский, Л. Митницкий, Владимир Нарбут, А. Неверов, В. Невский, К. Новицкий, Макар Пасынок, Перекати-Поле, В. Плетнев, В. Попов-Дубовский, Карл Радек, Лариса Рейснер, Семен Родов, А. Самобытник-Маширов, А. Серафимович, Ал. Соколов, Л. Сосновский, А. Тарасов-Родионов, В. Фриче, Ем. Ярославский. С июня 1925 г. журнал перестал выходить, но в 1926 г. его сменил журнал «На литературном посту».
- ¹⁰⁵ В ноябре 1923 г. МАПП и ЛЕФ подписали «Соглашение»: от МАПП свои подписи поставили Ю. Лебединский, С. Родов, Л. Авербах, от ЛЕФа – В. Маяковский и О. Брик (На посту. 1924. № 1(5). С. 283–284).
- ¹⁰⁶ *Родов С.* Как ЛЕФ в поход собрался // На посту. 1923. № 1 (июнь). Стб. 33.
- ¹⁰⁷ *Авербах Л.* По эту сторону литературных траншей // Там же. Стб. 80.
- ¹⁰⁸ *Лелевич Г.* Владимир Маяковский (беглые заметки) // Там же. Стб. 137.
- ¹⁰⁹ Там же. Стб. 138.
- ¹¹⁰ «Красная новь» была основана в 1921 г. В журнале активно печатали «путчиков»: А. Толстого, С. Есенина, И. Бабеля, Б. Пильняка, Вс. Иванова,

Б. Пастернака и др. А.К. Воронский (1884–1937), член партии большевиков с 1904 г., прошедший через многочисленные аресты при царизме, обладал литературным даром, писал очерки, фельетоны, публицистические сочинения, с 1922 г. был референтом В.И. Ленина по эмигрантской литературе, возглавлял литературный отдел газеты «Правда», руководил журналом «Красная новь» до 1927 г. За свою деятельность подвергался ожесточенной критике журнала «На посту». Так, например, Ил. Вардин в статье «Воронщину необходимо ликвидировать» писал: «В чем основная ошибка тов. Воронского и его сторонников? В том, что они недооценивают политического значения литературы, что они переоценивают “объективный момент” в творчестве попутчиков, что они неясно представляют себе совершенно исключительное положение литературы в эпоху гигантской войны классов» (На посту. 1924. № 1 (5). Стб. 9). В статье П. Кобозева «Старая гвардия – На посту» перечислялись те, кого напостовцы не принимали по идейным соображениям, несмотря на то что А.К. Воронский причислялся ими к партийной элите: «Эти частью враждебные нам, частью половинчатые группировки пользуются материальной и моральной поддержкой органов государства и покровительством некоторых наших ответственных и видных партийных товарищей (литературная линия “Красной Нови”, редактируемой тов. Воронским, “Красной Нивы”, редактируемой т.т. Луначарским и Стекловым, Госиздата, руководимого тов. Мещеряковым и т. д.). Этих писателей защищают в печати (ст. т. Троцкого о партийной политике в искусстве, предисловие т. Бухарина к “Хулио-Хуренито” – Эренбурга, примечание редакции “Известий” к фельетону Пильняка – “Лондон”, ст. т. Воронского – “Искусство, как познание жизни” в “Красной Нови” и т. п.). Эти писатели (ст. т.т. Осинского и Колонтай об Ахматовой)» (На посту. 1923. № 4. Стб. 10).

М.П. Одесский
Д.М. Фельдман

«Жизненный мир»
в дилогии об Остапе Бендере:
от «Двенадцати стульев» –
к «Золотому теленку»

В статье анализируются функция художественной детали в сатирической дилогии И. Ильфа и Е. Петрова. Этот прием позволяет соавторам точно и экспрессивно описать окружающий мир. Одновременно они используют ту или иную деталь, чтобы сообщить важную дополнительную информацию, которую легко дешифровали их современники, но которая теперь восстанавливается лишь при помощи специального комментария.

Ключевые слова: Илья Ильф, Евгений Петров, «Двенадцать стульев», «Золотой теленок», новая экономическая политика (нэп).

Исследователи давно отметили, что И. Ильф и Е. Петров демонстрируют необыкновенную внимательность к предметному миру и мастерство в его детальном изображении. Это – поэтологическое следствие установки на «интенсивную изобразительность», стремления «“назвать” предмет, точно запечатлеть его зрительный образ»¹, характерной тогда для В. Катаева, Ю. Олеси и других представителей «южно-русской школы» советской прозы.

Вместе с тем Ильф и Петров не только фотографически регистрируют окружающий мир или, как имажинисты, предаются самоценной игре с образами: опытные газетчики, они аккумулируют в своих описаниях повседневности ценную информацию о своем времени, которую позднему читателю приходится дешифровать, прибегая к комментарию. В данной статье мы приведем несколько примеров того, как авторы дилогии об Остапе Бендере конструировали «жизненный мир» (в нашей монографии 2015 г. мы использовали термин «миры», включающий, в

частности, предметный мир и неразрывно с ним связанный мир политических и тому подобных аллюзий²⁾, а также – *что* в обоих романах сохранялось и *что* трансформировалось.

* * *

В главе «Великий комбинатор» романа «Двенадцать стульев» (впервые – журнал «30 дней», 1928 г.) Бендер является будто бы ниоткуда. «В половине двенадцатого, с северо-запада, со стороны деревни Чмаровки, в Старгород вошел молодой человек лет двадцати восьми»³. Почему он пришел пешком, а не добрался по железной дороге или иным видом транспорта, что ему вообще понадобилось именно в Старгороде – не сообщается. Кроме того, он появляется без носков и без пальто. А еще Бендер не имел «ни денег, ни квартиры, где они могли бы лежать». Правда, у него были «зеленый, узкий в талию костюм» и «лаковые штиблеты с замшевым верхом апельсинного цвета»⁴.

Странности эти, конечно, введены с умыслом⁵. Очевидное для соавторов, особенно для бывшего сыщика Петрова, объяснение связано со специфическим социальным статусом героя: в Старгород вошел бывший заключенный, неоднократно судимый и совсем недавно освободившийся, то есть преступник-рецидивист. В самом деле, бездомный бродяга, не имеющий холодной весной (лед на лужах) ни пальто, ни носков, не путешествует в модном костюме и шегольской обуви. Зато для рецидивиста тут нет ничего необычного. Квартиры у него нет и быть не должно: советским законодательством предусматривалось, что осужденные лишались права на занимаемую жилую площадь. Значит, бездомным он стал уже после тюремного срока, вернуться было некуда. Соответственно гардероб хранить негде, вся одежда – на себе: зимой теплые вещи покупаются, летом продаются. И если «молодого человека двадцати восьми лет» арестовали до наступления холодов, то пальто он не носил. Туфли и костюм Бендер сохранил, поскольку их отобрали после вынесения приговора и вернули при освобождении, носки же и белье, которые арестантам оставляли, износились.

Для осведомленного современника были очевидны и обстоятельства, побудившие великого комбинатора добираться до города пешком. Дело тут не только в послетюремном безденежье. Освободившемуся рецидивисту, учитывая странности его наряда, лучше б вообще не попадаться на глаза милиции, а на вокзалах, на железнодорожных станциях непременно дежурят и милиционеры, и сотрудники ОГПУ, наблюдающие за приезжими. Потому, даже

если недавний арестант и купил билет, целесообразно выйти не на станции, а на ближайшем полустанке и оттуда добираться пешком. Понятно также, почему рецидивист выбирает Старгород, где раньше не бывал: во-первых, там нет знакомых сотрудников угрозыска, во-вторых, губернский центр достаточно велик, чтобы на улицах приезжий был не слишком заметен.

В главе I романа «Золотой теленок» (впервые – журнал «30 дней», 1931 г.) великий комбинатор – «в фуражке с белым верхом, какую, по большей части, носят администраторы летних садов и конферансье»⁶. Именно – «по большей части». Потому что многие бывшие моряки летом тоже носили фуражки с белым – летним – чехлом на тулье. Вот почему такие головные уборы в обиходе именовали «капитанками».

Деталь значимая. «Капитанка» обозначает флотскую тему. Великий комбинатор, как известно, обратится к председателю исполнительного комитета городского совета, предлагая оказать финансовую помощь случайно попавшему в трудное положение «сыну лейтенанта Шмидта».

Фамилия тогда на слуху. О П.П. Шмидте, расстрелянном в 1906 г. за руководство мятежом на крейсере «Очаков» и других судах Черноморского флота, публиковали статьи периодические издания, выпускались даже книги. Еще в досоветскую эпоху он считался мучеником. Ну а после установления советского режима, можно сказать, попал в пантеон «героев революционного движения». Действие романа «Золотой теленок» начинается летом 1930 г. Идет пропагандистская кампания в связи с двадцатипятилетней годовщиной начала «первой русской революции». Впрочем, тема и раньше считалась актуальной. Так что предгорисполкома «живо вспомнил знаменитый облик революционного лейтенанта с бледным усатым лицом и в черной пелерине с бронзовыми львиными застежками»⁷.

Сумма, что запросил Бендер, сравнительно велика. Пятьдесят рублей. Это больше, чем месячное жалованье среднего исполкомовского служащего. Но глава администрации, «стесненный узкими рамками местного бюджета, смог дать только восемь рублей и три талона на обед в кооперативной столовой “Бывший друг желудка”»⁸.

Отметим, что «кооперативная столовая» – еще нэповская реалья. Кооперативы подобного рода создавались при официальном содействии профсоюзов на предприятиях и в учреждениях: кооператоры имели право закупать продовольствие оптом – на льготной основе. Соответственно «талоны на обед» выдавались

лишь сотрудникам. Что до комического названия «кооперативной столовой», то Ильф и Петров обыгрывают популярные рекламные плакаты. Столичным Трехгорным пивоваренным заводом в ту пору выпускалось пиво «Друг желудка».

Вскоре у бендеровской «капитанки» появляется своеобразная рифма в одежде другого мошенника, заявившегося в кабинет председателя горисполкома. На Шуре Балаганове – «штаны с матросским клапаном»⁹. «Матросский клапан» – термин. Со времен парусного флота широкие матросские брюки застегивались не спереди, как обычные, а на бедрах. В силу какой причины – есть разные версии. Согласно одной из них, чтобы в случае падения за борт легче было сбросить: намокшая одежда тянет ко дну. Так ли задумывалось, нет ли, но – флотская традиция. Балаганов, как явствует из дальнейшего, матросом не был, но заботился, чтобы хоть одна деталь одежды напоминала о морской службе, провоцировала соответствующие ассоциации.

Бендер – как и в романе «Двенадцать стульев» – мошенник-рецидивист. Таков же примкнувший к нему Балаганов. А мошенничество подразумевает не только наличие специфических деталей одежды, но и теоретическую подготовку. Пытаясь сгладить впечатление от встречи двух «сыновей лейтенанта Шмидта» в кабинете предгорисполкома, мошенники обращаются к истории черноморского восстания: Балаганов «освоился с обстановкой и довольно толково, хотя и монотонно, рассказал содержание массовой брошюры “Мятеж на ‘Очакове’ ”».

Такого рода издания действительно были массовыми. Скорее всего Ильф и Петров неточно цитировали заглавие брошюры И.И. Генкина, выпущенной издательством «Молодая гвардия»¹⁰.

Очередной мошенник, тоже выдававший себя за сына «мученика революции», но заявившийся в кабинет главы администрации после ухода Балаганова и Бендера, не заботится о флотских деталях одежды. Карикатурен облик третьего «сына лейтенанта Шмидта». Причем каждая деталь – свидетельство былого достатка и бедности в настоящем. Знаки былого достатка – золотая зубная коронка и модная в предвоенные годы шляпа-канотье: соломенная, с низкой цилиндрической тульей и узкими полями. Ну а как свидетельство бедности читателем воспринималось описание изношенных до неприличия брюк и пиджака.

Балаганов и сообщает Бендеру фамилию третьего «сына лейтенанта Шмидта» – тому самому Паниковскому, который, согласно названию главы I, «нарушил конвенцию». Суть конвенции определит Балаганов уже в следующей главе. Ее название

характеризует «договаривающиеся стороны»: «Тридцать сыновей лейтенанта Шмидта».

Ильф и Петров отсылали читателей к газетному контексту. Различные международные конвенции часто обсуждались в советской периодике рубежа 1920–1930-х гг. Пародийный их вариант – раздел территории СССР сообществом профессиональных мошенников. Ильф и Петров иронизировали, отмечая, что на фоне всеобщей организованности «один лишь рынок особой категории жуликов, именующих себя детьми лейтенанта Шмидта, находится в хаотическом состоянии. Анархия раздирает корпорацию детей лейтенанта, и они не могли извлечь из своей профессии тех выгод, которые она, несомненно, могла принести»¹¹.

Выгоды и так были немалыми. Ильф и Петров констатировали: «Трудно найти более удобный плацдарм для всякого рода самозванцев, чем наше обширное государство, переполненное или сверх меры подозрительными или чрезвычайно доверчивыми администраторами, хозяйственниками и общественниками»¹². Подозрительность «сверх меры» – намек на многочисленные анкеты, заполнявшиеся советскими гражданами, когда приходилось на работу поступать. Дежурная шутка тех лет. Что до «чрезмерно доверчивых администраторов», то шутка относилась к доверчивости как таковой. Тут страх играл главную роль. Отказ в помощи, к примеру, внуку Маркса, брату Луначарского, сыну или дочери лейтенанта Шмидта можно было бы – при желании – трактовать как обусловленный политически. А потому, отмечали Ильф и Петров, отряды «мифических родственников усердно разрабатывают природные богатства страны: добросердечие, раболепство и низкопоклонничество»¹³.

Ключевые слова здесь – «раболепство и низкопоклонничество». Сомнительно же «добросердечие» администраторов: мошенникам они передавали не свои деньги.

Но «детям лейтенанта Шмидта» пришлось все же собраться, чтобы разделить страну на участки и распределить их по жребью. Повезло не всем: «Злая звезда Паниковского оказала свое влияние на исход дела. Ему досталась бесплодная и мстительная республика немцев Поволжья»¹⁴. Речь шла об Автономной Советской Социалистической Республике Немцев Поволжья. Она в ту пору отнюдь не «бесплодная». В аспекте плодородия – не хуже, а лучше большинства российских. И местный уровень развития сельского хозяйства считался очень высоким.

Другой вопрос – количество «доверчивых администраторов». Поиск таких среди дисциплинированных потомков немецких пе-

реселенцев был нелегкой задачей. По той же причине автономная республика названа «мстительной». Там администраторы действовали по закону, что уже знали опытные «дети лейтенанта Шмидта»: «не один из собравшихся сидел у недоверчивых немцев-колонистов в тюремном плену»¹⁵.

В общем, Ильф и Петров подробно объяснили, из-за чего «Паниковский нарушил конвенцию». Современникам не требовались дополнительные комментарии. Но позже ситуация изменилась. Прежде всего – политическая. Как известно, в 1941 г. АССР Немцев Поволжья была ликвидирована. Немецкое население депортировано, то есть вывезено, а затем распределено по северным, дальневосточным и среднеазиатским регионам страны. Печатное разглашение сведений об этой и других депортациях было запрещено.

Вот почему в послевоенных изданиях «Золотого теленка» уже не упоминалась ликвидированная республика и связанные с ней споры «детей лейтенанта Шмидта». Правка неуклюжая: «Злая звезда Паниковского оказала свое влияние на исход дела. Ему досталось Поволжье»¹⁶.

Встреча «сыновей лейтенанта Шмидта» происходит в конце периода «свертывания нэпа», и результаты заметны: столовая, где можно реализовать талоны кооператива, закрыта, а «частновладельческого сектора в городе не оказалось...»¹⁷. Это примета времени. Еще одна – плакат, не вызывающий у горожан удивления: «Пиво отпускается только членам профсоюза»¹⁸. Ильф и Петров тут несколько утрировали, такие объявления даже тогда не вывешивались. Но смысл шутки был ясен современникам.

Бендер и Балаганов найдут другое кооперативное заведение, тоже созданное при содействии профсоюза, обеспечивающего льготами сотрудников. О том напоминала и ранее обыгранная соавторами реклама пива «Друг желудка». «Сыновьям лейтенанта Шмидта» пиво не достанется, но пообедать за наличный расчет им все же удастся. За совместным обедом Бендер изложит Балаганову свой генеральный план. Можно сказать, кредо: «Я хочу отсюда уехать. У меня с советской властью возникли за последний год серьезные разногласия. Она хочет строить социализм, а я не хочу. Мне скучно строить социализм. Что я каменщик, каменщик в фартуке белом?..»¹⁹.

Великий комбинатор точен. Нет уже выбора, потому как нэповская эпоха завершалась. А последняя фраза – ссылка на стихотворение В.Я. Брюсова (1901 г.): «– Каменщик, каменщик в фартуке белом, // Что ты там строишь? кому? // – Эй, не мешай нам, мы заняты делом, / Строим мы, строим тюрьму»²⁰.

Бендер иронически сопоставляет тюрьму и социализм – по критерию принуждения. Для 1930 г. шутка была допустимой: шутит ведь герой отнюдь не положительный, да и впереди у него – поражение. В журнальную публикацию шутка вошла. Но уже во втором книжном издании (и последующих) нет ссылки на брюсовское стихотворение. Осталась лишь одна мотивировка: попросту «скучно» великому комбинатору «строить социализм»²¹.

К началу застольной беседы «сыновей лейтенанта Шмидта» читатель уже получил некоторое представление о том, что делал великий комбинатор в период между осенью 1927 г., когда действие первого романа дилогии закончилось, и началом «Золотого теленка». Не роскошествовал. Перебивался мелкими аферами. Все тот же на Бендере костюм, приобретенный весной 1927 г. – после удачного шантажа в Старгороде. Экстравагантный, однако «поношенный, серый в яблоках пиджак»²².

Активизируют Ильф и Петров и другие связи с первым романом дилогии. В частности, великий комбинатор заявляет Балаганову: «Остап Бендер никогда никого не убивал. Его убивали, это было»²³. Соавторы даже намекнули, каким образом выжил Бендер. Акцентировано, что Балаганов, «подняв глаза на Остапа, сразу осекся. Перед ним сидел атлет с точеным, словно выбитым на монете, лицом. Смуглое горло перерезал хрупкий вишневый шрам»²⁴. Шрам напоминал читателям о воробьяниновской бритве. «Хрупкий», то есть узкий, нитевидный, чуть изогнутый, словно изломанный в местах, где рану стягивал швами хирург. Подразумевалось, что Бендер вовремя попал на операционный стол.

Великий комбинатор не изменился. По-прежнему волевой, энергичный: «Глаза сверкали грозным весельем»²⁵. Но эпоха изменилась. Бендер констатирует:

Отъем или увод денег варьируется в зависимости от обстоятельств. У меня лично есть четыреста сравнительно честных способов отъема. Но не в способах дело. Дело в том, что сейчас нет богатых людей. И в этом ужас моего положения. Иной набросился бы, конечно, на какое-нибудь беззащитное госучреждение, но это не в моих правилах. Вам известно мое уважение к уголовному кодексу. Нет расчета грабить коллектив. Дайте мне индивида побогаче. Но его нет, этого индивидуума²⁶.

В самом деле, на исходе 1920-х гг. легальное предпринимательство более опасно, нежели доходно. Предпринимателей душили растущими налогами, весьма часто арестовывали и, конфисковав

имущество, ссылали. Что и констатирует Бендер: «У нас все скрыто, все в подполье. Советского миллионера не может найти даже наркомфин с его сверхмощным налоговым аппаратом»²⁷. Понятно, что Народный комиссариат финансов не контролирует нелегальное предпринимательство. «Сверхмощный налоговый аппарат» бессилен перед теми, кто не платит налоги.

Итак, основная сюжетная схема – поиски богатства – в «Золотом тельенке» та же, что в «Двенадцати стульях». Однако действовать мошенникам придется в принципиально иных условиях «свертывания нэпа», которые и воссоздают авторы дилогии при помощи своей полисемантической «интенсивной изобразительности».

Примечания

- ¹ Чудакова М.О. Мастерство Юрия Олеши // Чудакова М.О. Избр. работы. М.: Языки русской культуры, 2001. Т. 1: Литература советского прошлого. С. 28, 42.
- ² Подробнее см.: *Одесский М.П., Фельдман Д.М.* Миры И.А. Ильфа и Е.П. Петрова: Очерки вербализованной повседневности. М.: РГГУ, 2016. С. 7–9.
- ³ *Ильф И., Петров Е.* Двенадцать стульев: Полная версия романа / Подгот. текста, вступ. ст., коммент. М.П. Одесского, Д.М. Фельдмана. СПб.: Азбука-Аттикус, 2014. С. 68.
- ⁴ Там же.
- ⁵ Подробнее см.: *Одесский М.П., Фельдман Д.М.* Указ. соч. С. 30–40.
- ⁶ *Ильф И., Петров Е.* Золотой тельенок: Полная версия романа / Подгот. текста, вступ. ст. М.П. Одесского, Д.М. Фельдмана. СПб.: Азбука-Аттикус, 2014. С. 74.
- ⁷ Там же. С. 77.
- ⁸ Там же. С. 79.
- ⁹ Там же. С. 80.
- ¹⁰ См.: *Генкин И.И.* Лейтенант Шмидт и восстание на «Очакове»: К двадцатипятилетию: 1905–1925. М.; Л.: Молодая гвардия, 1925.
- ¹¹ *Ильф И., Петров Е.* Золотой тельенок. С. 86.
- ¹² Там же.
- ¹³ Там же. С. 87.
- ¹⁴ Там же. С. 89.
- ¹⁵ Там же. С. 88.
- ¹⁶ См., например: *Ильф И., Петров Е.* Двенадцать стульев. Золотой тельенок. Ашхабад: Туркменское гос. изд-во, 1957. С. 343.
- ¹⁷ *Ильф И., Петров Е.* Золотой тельенок. С. 85.
- ¹⁸ Там же.

- ¹⁹ Там же. С. 92.
- ²⁰ Брюсов В.Я. Собр. соч.: В 7 т. М.: Худож. лит, 1975. Т. 1. С. 329. См.: Лурье Я.С. В краю непуганых идиотов // Лурье Я.С. Россия Древняя и Россия Новая: (Избранное). СПб.: Дмитрий Буланин, 1997. С. 248–289.
- ²¹ См., например: Ильф И., Петров Е. Золотой теленок // Ильф И., Петров Е. Собр. соч.: В 5 т. М.: Худож. лит., 1996. С. 26.
- ²² Ильф И., Петров Е. Золотой теленок. С. 79.
- ²³ Там же. С. 92.
- ²⁴ Там же. С. 91.
- ²⁵ Там же.
- ²⁶ Там же. С. 92.
- ²⁷ Там же. С. 93.

Abstracts

D. Antonov

The sorcerer on the throne. Legends and rumour about False Dmitrij the First as an impostor

The article is devoted to the legendary biography of False Dimitrij I, created by his opponents who supported the tsars Boris Godunov and Vasilij Shujskij. According to the legend, the pretender was a cunning sorcerer, a secret heretic and a Devil's servant. The author seeks to trace the ways this official legend was adopted and transformed in the oral narratives.

Keywords: political mythology, the Time of Troubles, the pretender, False Dimitrij, demonization of the ruler.

A. Astashov

Everyday life of reserve battalions of national guards on the eve of the February revolution

The article is devoted to the crisis of the lifeworld of reserve battalions of the guards on the eve of the February revolution from the point of view of Petrograd's daily life as a front-line city. Based on the primary archival materials introduced into scientific circulation, the daily life of reserve battalions, their internal conflicts and conflicts with city authorities and citizens are analyzed. It is concluded that the reserve battalions are ready for an anti-war riot, which was presented as a form of defense of the basic principles of their lifeworld.

Keywords: The First World War, the Petrograd garrison, the guard, the life world, everyday life, the February Revolution.

A. Karavashkin

Conventional models and "Lifeworld" in culture sources

The article deals with the problem of conventional models in the culture sources, discusses what the nature of this phenomenon is and how to detect it in the text. The author relies on the work of historians,

specialists in semiotics and linguistics. As examples, reference is made to the medieval written records.

Keywords: conventional model, lifeworld, nomination, communication, addressant, recipient, sources of culture.

I. Kurukin

“The smell of atheism”. Maxim Parkhomov
against the Holy Synod

The article is devoted to the protracted divorce proceedings of the provincial secretary Maxim Parkhomov and his exile to a monastery in 1723–1743. On the basis of the published and archival documents the author examines the history of the ordinary family conflict with the Church authorities that allow to identify some trends in the development of the daily life of the people of post-Petrovskij Russia and the mechanism of their interaction with the government.

Keywords: Synod, adultery, excommunication, Solovetskij monastery, exile.

M. Odesskij, D. Feldman

“Lifeworld” in the duology about Ostap Bender.
From “Twelve Chairs” to “The Golden Calf”

The article deals with the function of the artistic detail in the satirical duology by Il’f and Petrov. This artistic device helps the writers to describe the surroundings vibrantly and precisely. They also use this detail to convey important information which was easily decoded by their contemporaries but now can be reconstructed only with the help of commentaries.

Keywords: Ilya Il’f, Evgenij Petrov, “Twelve Chairs”, “The Golden Calf”, new economic policy (NEP).

V. Parsamov

Yu.G. Oksman and revolution of 1917

The scientific views and methodology of Julian Oksman (1895–1970), prominent Russian philologist, were shaped in the pre- and revolutionary periods. This part of his biography remains substantially unknown. Using Oksman’s personal records and early literary works,

this paper aims to explore his interpretation of the 1917 Revolution as well as its impact on his scientific research. The paper gives a double explanation of the problem: the retrospective one based on Oksman's latest evidences on the revolution and the synchronistic one based on the letters to his wife in the 1910s. The paper also reveals the philosophical roots of Oksman's methodology, raises the issue 'Oksman and the formalists,' and studies his ideas in the context of ideological and methodological explorations of the revolutionary period.

Keywords: J.G. Oksman, revolution, philology, formalism, textual criticism, history.

I. Shevelyov

Ego-documents as the sources for the study
of the psychology of the participants of the First World War
(on an example of the Smolyak's family archive)

The article analyzes the previously unpublished diary and letters from the Smolyak's family archive, which is stored in the State Historical museum, Moscow. On the basis of these documents, the author attempts the historical reconstruction of the identity of a participant of WW1: his moral and ethical appearance, his behavior in extreme situations, and his attitude to life and death. The article also considers the peculiarities of the intra-family relations in the period of WW1.

Keywords: The First World War, The Imperial Russian Army, private diaries, letters, psychology of the combatant, family archive, ego-documents.

A. Iurganov

Imaginism and LEF. Lifeworld of the Soviet literature
in conflict opposition

The article is devoted to the history of the Soviet culture in the 1920s when there was a fight between various literary groups. Imaginism was a continuation of the classical Russian modernism of the First Russian Revolution, LEF was a continuation of the Russian positivism under the new circumstances of the victory of the Bolsheviks. The conflict between the two forces shows that Soviet culture was still experiencing previous unresolved disputes within itself.

Keywords: Revolution, formalism, Imaginism, LEF, Soviet literature, modernism, positivism.

Сведения об авторах

Антонов Дмитрий Игоревич – кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и теории культуры факультета истории искусства РГГУ, старший научный сотрудник Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС, antonov-dmitriy@list.ru

Асташов Александр Борисович – кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России Средневековья и Нового времени ИАИ РГГУ, astashsh@yandex.ru

Каравашкин Андрей Витальевич – доктор филологических наук, профессор кафедры истории России Средневековья и Нового времени ИАИ РГГУ, karavash2008@yandex.ru

Курукин Игорь Владимирович – д-р ист. наук, профессор кафедры истории России Средневековья и Нового времени ИАИ РГГУ, kurukin@mail.ru

Одесский Михаил Павлович – доктор филологических наук, профессор, завкафедрой литературной критики Института массмедиа РГГУ, modessky@mail.ru.

Парсамов Вадим Суренович – доктор исторических наук, профессор Школы исторических наук факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ, parsamovvs@gmail.com

Фельдман Давид Маркович – доктор исторических наук, профессор кафедры литературной критики Института массмедиа РГГУ, dmfeld@inbox.ru.

Шевелёв Иван Геннадиевич – аспирант кафедры источниковедения ИАИ РГГУ, научный сотрудник ОПИ ГИМ, ivanshevel@mail.ru

Юрганов Андрей Львович – доктор исторических наук, профессор, завкафедрой истории России Средневековья и Нового времени ИАИ РГГУ, iurganov@yandex.ru

General data about the authors

Antonov Dmitriy I. – Ph. D. in History, associate professor, Department of History and Theory of Culture, Russian State University for the Humanities, senior researcher, School for Actual Studies in the Humanities, The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, antonov-dmitriy@list.ru

Astashov Alexander B. – Ph. D. in History, associate professor, Department of Medieval and Modern History of Russia, Institute for History and Archives, Russian State University for the Humanities, astashsh@yandex.ru

Feldman David M. – Dr. in History, professor, Department of Literary Criticism, Institute of Massmedia, Russian State University for the Humanities, dmfeld@inbox.ru.

Iurganov Andrei L. – Dr. in History, professor, Head, Department of Medieval and Modern History of Russia, Institute for History and Archives, Russian State University for the Humanities, iurganov@yandex.ru

Karavashkin Andrei V. – Dr. in Philology, professor, Department of Medieval and Modern History of Russia, Institute for History and Archives, Russian State University for the Humanities, karavash2008@yandex.ru

Kuruikin Igor V. – Dr. in History, professor of the Department of Medieval and Modern History of Russia, Institute for History and Archives, Russian State University for the Humanities, kuruikin@mail.ru

Odesskij Mikhail P. – Dr. in Philology, professor, head, Department of Literary Criticism, Institute of Massmedia, Russian State University for the Humanities, modessky@mail.ru.

Parsamov Vadim S. – Dr. in History, professor, School of Historical Studies, Humanities Department, National Research University “Higher School of Economics”, parsamovvs@gmail.com

Shevel'ov Ivan G. – postgraduate student, Department of Source Studies, Institute for History and Archives, Russian State University for Humanities, researcher, Written Sources Department, State Historical Museum, Moscow, ivanshevel@mail.ru

Художник *В.В. Сурков*

Корректор *О.К. Юрьев*

Компьютерная верстка *Н.В. Москвина*

Подписано в печать 19.05.2017.

Формат 60×90¹/₁₆

Усл. печ. л. 10,0. Уч.-изд. л. 10,5.

Тираж 1050 экз. Заказ № 104

Издательский центр
Российского государственного
гуманитарного университета
125993, Москва, Миусская пл., 6
www.rgggu.ru
www.knigirgggu.ru

Журнал «Вестник РГГУ»
Серия «История. Филология. Культурология. Востоковедение»
выходит 12 раз в год.

Подписка принимается
всеми отделениями связи без ограничений.
Подписной индекс в каталоге «Газеты. Журналы»
ОАО Агентства «Роспечать» – 70969
Не забудьте своевременно подписаться
на наш журнал!
